

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

ОБНАЖЕНИЕ
ЧУВСТВ

Сергей Алексеев
Обнажение чувств

«Алексеев Сергей»

2017

Алексеев С. Т.

Обнажение чувств / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 2017

«В последний миг он ждал некоего откровения, открытия истины или момента перехода из одного мира в другой; готовился к потрясающему и божественному событию, о котором так много говорили на этом свете. Но все произошло обыденно, и так, словно Сударев заснул под шум дождя, и не увидел ни обещанных коридоров, ни тоннелей, по которым улетает душа...»

Содержание

1	5
2	13
3	21
4	27
5	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Сергей Алексеев

Обнажение чувств

1

В последний миг он ждал некоего откровения, открытия истины или момента перехода из одного мира в другой; готовился к потрясающему и божественному событию, о котором так много говорили на этом свете. Но все произошло обыденно, и так, словно Сударев заснул под шум дождя, и не увидел ни обещанных коридоров, ни тоннелей, по которым улетает душа. Только собака на улице завывала и даже бывшая в спальне Анна ничего не заметила, орудуя утюгом на гладильной доске. Спихватилась, когда на левой, здоровой ноге Сударева, между пальцев вдруг открылась старая рана, полученная еще в отрочестве. Аспирантка кроме всего была военной медсестрой – все филологи проходили курс и получали звание сержанта, не боялась крови, но тут ее аж передернуло от страха: фонтанчик бил вертикально вверх с каким-то неестественным напором. Зажать ранку и перемотать углом простыни не получилось, только вся испачкалась и убежала на кухню за бинтом, йодом и жгутом, который в доме где-то был.

Когда же вернулась, кровь остановилась сама. Но Анна все равно перевязала ногу, затем как-то легко, считая Сударев спящим, перекатила его с боку на бок, благо, что кровать была широкой, чаще называемой «сексодромом». Она перестелила простыню, замыла матрац и пол, причем, делала все это не осторожно, хотела, чтобы проснулся: спать на вечерней заре, голова заболит. Профессор обычно дышал едва слышно, что говорило о здоровом сердце, а тут она вообще не прислушивалась, но запомнила, был теплый и сонно расслабленный. Они жили вместе уже полтора года, приноровились друг к другу, как привыкают супруги, взаимно изучив привычки. Анна снова взялась за утюг, ибо ее ждал ворох постиранного белья. От однообразной работы мысли тупились, и полтора часа она утюжила в голове одну и ту же: почему кровь потекла из левой ноги, когда у профессора ранена правая и на ступне когда-то отняты все пальцы?

Трижды она осматривала забинтованную ногу и ответа не находила. Поэтому залезла рукой под одеяло и тщательно прошупала постель на предмет стекла, случайно попавшей туда, бритвы или чего-то острого. Ничего такого не было!

А Сударев сначала испытал некий сиюминутный провал, будто проскочил сквозь темную комнату, причем, торопливо и с затаенным испугом, как в детстве, затем стал видеть сон – так ему показалось вначале. Будто он еще маленький, шестилетний, снова едет в кузове открытого грузовика по осенней дороге, хлещет холодный дождь и будто его опять возвращают в детский дом. А через плечо у него ноша, связанная веревочкой – промокшая перьевая подушка, подаренная сестрицей Лидой, и узелок, куда бывшие родители сложили его вещи.

Как и в прошлый раз, грузовик остановился перед железными воротами – приют помещался в бывшем женском монастыре, за высокой каменной стеной. И Сударев догадался, что каждая вечная жизнь состоит из многих замкнутых циклов, поэтому бессмертие вполне возможно. Однако следующий этап мог быть совершенно иным, в другом теле, с непохожими мозгами, устремлениями и характером. Он мог вернуться на этот свет вообще другим, неузнаваемым человеком!

Поэтому уходя, он сожалел лишь об одном – не успел написать роман о любви! Столько лет готовился, исследовал свои и чужие чувства, сотни раз выстраивал в воображении картины, завязывал сюжетные линии, сооружал грандиозные треугольники. Отлично зная теорию и литературные традиции, продумывал детализировку героев, событий, неожиданных поворотов, дабы обеспечить захват внимания, и ничего не успел перенести на бумагу! Даже планов, чер-

новики, записки, зарисовки не оставил – все держал в уме, полагаясь на свое воображение и память. А вдруг на новом этапе жизни писать его не захочется? Вдруг и в голову не придет сесть и сочинить роман? И все наработки, все уже придуманные чувственные коллизии даже не вспомнятся!

Но теперь поздно сожалеть, вот уже впереди нарисовались ворота!

И пусть эти ворота в старый монастырь, где когда-то был приют, но все равно символ перехода! Сейчас калитка откроется, его впустят и все начнется сначала, все пойдет по кругу, а прошлую жизнь он забудет, как только перешагнет порог детдома. Точнее, не совсем забудет – спрячет ее в дальний угол памяти вместе с ненаписанным романом, как спрятал первое усыновление. И станет верстать свое иное существование, с чистого листа. А от старого в новое перейдут вещи материальные, например, перьевая подушка, на которой будет сниться сон о прошлом. Еще возможно, воспоминания двух – трех близких, которые будут рассказывать о его прошедшей жизни.

Стоя перед воротами, Сударев все еще искал, за что бы зацепиться и вынуть из происходящего хоть какую-нибудь истину. То, чего не знал и знать не мог на этом свете. Должно же хоть что-нибудь открыться! Даже обидно становится, ни одной согревающей разум, мысли не приходит. Да и те, что крутятся в голове, кажутся отстраненными, попутными, что ли и не тянут на откровение. Он помнил, что детдом из монастыря давно выселили, отдали церкви, и теперь за воротами живут монахини и послушницы. Да еще где-то во флигеле, за стеной, обитает женоненавистник Аркаша, однокашник по приюту, маститый писатель и лауреат Госпремии.

Он приоткрыл тяжелую стальную калитку и осторожно заглянул сквозь узкую щель. И увидел, что детдома за воротами и в самом деле нет, но и монастыря нет! Открылось совсем другое пространство, и картина была памятная и трепетная: в учительском домике, возле печного зева на клетчатом пледе спала обнаженная молодая женщина! Ее разбросанные каштановые волосы лежали валом вокруг маленькой головки, покрывали плечи и далее растекались потоком по пледу и полу. И это была она, учительница Марина Леонидовна, которую Сударев узнал бы в любом виде, даже по руке, по пряди волос!

Он задохнулся от восторга – вот оно, откровение, которого ждал! И сразу же опалило старую рану между пальцев на левой ноге, откуда ударил фонтан крови! Как тогда, ранним утром на лугу, когда они собирали нектар бессмертия, и он наступил на его каплю, вышедшую из недр земли. Или, скорее всего, на битое стекло, которого было много вокруг стекольного завода, но Марина Леонидовна все же убедила его, что это был нектар, застывающий на поверхности земли.

Не взирая на кровь и опасаясь потревожить спящую учительницу, Сударев замер у калитки, перестал дышать и это его спасло от окончательной смерти. Он не умер, но повис где-то между жизнью и смертью, между этим светом и тем, потому что видел оба мира сразу! И было не понятно, в котором из них теперь обитает любимая учительница и где находится учительский домик?

А этот свет держал еще крепко, потому как шестилетний Сударев отчетливо видел Анну, которая стояла у гладильной доски и механично двигала утюгом. И помнил, что сейчас непременно появится сестрица Лида и поймает его с поличным. Подсматривать за спящими взрослыми тетями было запрещено на этом, и на том свете! Он хорошо это уяснил, однако сейчас потянул калитку на себя, чтобы войти в учительский домик, или вернее, в другой мир, и услышал голос невидимой сестрицы:

– Это безнравственно! Ты слишком рано искусился женскими прелестями.

Голос был родным, милым, узнаваемым, но слова совершенно чужие! Лида не могла проносить таких, и сказала бы грубо, ехидно, даже цинично. Она и тогда не церемонилась, захватив его у чужой двери.

– Ах ты, Подкидыш! – сказала восьмилетняя сестрица. – Сопляк еще, а уже на голых девок пялится!

И было непонятно, хорошо это или плохо, в осуждение сказано или напротив, как отображение его достоинства, поскольку в голосе Лиды звучало не только возмущение – восхищенное удивление и одновременно приговор. Сейчас бы он ответил, что смотреть на обнаженных женщин ему необходимо по зову творческого вдохновения, что рано или поздно он все равно напишет роман о любви. А для глубинного понимания этого чувства надо самому испытать все его нюансы и тонкости, исследовать природу зарождения и развития. Наконец, влюбиться самому, и так, чтоб хватило на всю оставшуюся жизнь!

В первый раз, когда сестрица застучала его в бараке, Сударев увидел совсем другую женщину, коротко стриженную, но спящую точно в такой же позе – одна рука закинута за голову, другая лежит на сакральном треугольнике. Причем, картинка тогда высветилась не реальная и напоминала знаменитое полотно Тициана «Венера», которого Сударев никогда не видел, и видеть не мог. Это уже потом, спустя много лет, когда на глаза попала ее копия, узнал. Но при этом женщина на постели, нарисованная, сотканная из масляных мазков, казалась живой, манящей и совсем не знакомой. Не приближаясь, ее хотелось рассматривать бесконечно, как картину, ибо иначе мазки сливались, и образовывался пестрый хаос, в том числе, и в голове.

Сейчас же Марина Леонидовна казалась реальной, из плоти и крови, и находилась в своем домике, возле распахнутого зева печки, но Сударев смотрел на нее сквозь приоткрытую монастырскую калитку, находясь в своей спальне, потому что Анна все еще гладила белье, и пронзительно пахло перегретым утюгом. Нога перестала кровоточить и земное, привычное сознание померкло. Зато открылось иное, как будто существующее параллельно, или точнее, свое, но отраженное, словно в зеркале или светлой воде. И можно было зрительно видеть свои мысли! Рассматривать их, изучать развитие во времени и изменять, если есть в том нужда. При жизни ничего подобного он не испытывал и взирал на такое чудо с восторгом, полагая, что теперь за него мыслит отлетевшая, но обитающая рядом, душа.

– Не спи на закате. – предупредила незримая Анна. – Голова заболит.

Аспирантка была родом из деревни, воспитывалась в крестьянской культурной среде, знала много примет, обычаев и фольклора, и будучи искренней, своей родовой не стеснялась. Он услышал это, но она, душа, толкала Сударева войти к Марине Леонидовне, хотя он осознавал себя шестилетним мальчишкой, видел со стороны промокшего цыпленка с узлами на плече, заглядывающим в то, чего еще нет. И надо было подождать, когда пройдет еще шесть лет, когда он превратится в отрока, в зреющего подростка, и, собирая нектар бессмертия, порежет ногу стеклом. Сударев не входил в другой мир, потому что знал все наперед: отлетевшая душа манила и показывала ему будущее, которое непременно случится, когда придет срок.

Он притворил монастырскую калитку и в тот час обнаружил себя лежащим на кровати в спальне загородного недостроенного коттеджа. Исчезнувшее пространство связывал лишь хлещущий за приоткрытым окном, дождь, запах утюга, свежестиранного белья и уксуса, который Анна добавляла в воду, чтобы взбрызгивать пересушенные простыни. Образ аспирантки был каким-то неустойчивым, не постоянным, и то являлся четко очерченным и реальным, то висел в воздухе, как приведение. Но именно в таком виде Анна казалась досягаемой, и он трогал ее за руки, гладил по ягодицам, что она так любила, иногда подставляясь под его ладонь. Скорее всего, ее привязанность была настолько сильной, что она на считанные минуты проваливалась в пространство между мирами, чтобы быть ближе к Судареву.

Потом рядом с кроватью профессора появилась другая женщина, не менее живописная, в красной пилотке, ядовито-зеленом платке на шее и бирюзовом халате «скорой помощи». На плечах, словно двуглавая змея, лежал непомерно толстый, черный шланг фонендоскопа и шевелился, как живой. Она принялась ощупывать, оттягивать веки, затем поискала пульс на горле, и наконец, приставила черную слуховую тарелку к сердцу.

Послушала и будто печать поставила.

– Он умер.

При этом руки у нее показались ледяными, как у покойницы.

– Как – умер? – воскликнула невидимая Анна. – От чего? Не может быть! Алексею Алексеевичу всего пятьдесят четыре года... Сделайте что-нибудь!

И еще что-то говорила истерично, сбивчиво, как обычно в таких случаях, но слова перебивал заунывный собачий вой. Сударев хотел сказать, что он совсем еще не умер, висит между тем и этим светом, взирает сразу на оба и еще не решил, куда ему пойти. Потому что не знает, в каком сейчас находится учительский домик, где по прежнему живет Марина Леонидовна. Его давно должны были сломать из-за ветхости, и если сломали, то дом, как и люди, тоже перекочевал на тот свет. По крайней мере, его душа. А она у дома была!

Фельдшерица, должно быть, заметила некое пограничное состояние Сударева, повозилась со своим саквояжем, после чего все-таки отыскала вену на руке и сделал укол. А длинную иглу второго шприца вонзила в сердце. На минуту в комнате повисла выжидательная тишина, даже овчарка на улице умолкла. Анна почему-то улыбалась, возможно, сдерживала рвущийся наружу восторг, если Сударев оживет, задышит и встанет.

Он не встал.

– Поздно. – заключила фельдшерица, осматривая ноги покойного. – Реакций не наблюдается.

– Но отчего?!... – сдавленно воскликнула Анна. – От чего он мог умереть?! Он совсем не болел...

– Почему ступня перебинтована?

– Кровь пошла! Брызнула!.. И сама остановилась.

Фельдшерица размотала бинт и осмотрела ранку, о существовании которой Анна даже не знала.

– Типичный свежий порез чем-то острым... Стеклом, что ли?

– Не знаю! – растерялась аспирантка. – Этой раны никогда не было!... У него правая болела, в Афгане был ранен, оперировали...

– Это я вижу... Остановилось сердце, остановилась и кровь.

– Но много крови вышло!

– Ну не столько, чтобы умереть. Крупные сосуды не затронуты... Странно все. Очень странно! Надо отправлять на судмедэкспертизу, сообщать в следственные органы...

У Анны началась тихая истерика.

– Отчего? Отчего он умер?...

Фельдшерица содрала перчатки и достала бумаги.

– От чего, не знаю, вскрытие покажет... И успокойтесь! Вы кем приходитеесь усопшему? Дочь?

Анна вдруг схватила зеркало, поднесла к устам Сударева и долго так держала, вглядываясь, не замутило ли стекло. Не замутило, и голос ее обвял, сознание запуталось.

– Я его женщина... То есть, супруга, гражданская жена. Или даже служанка... В общем, аспирантка.

– Не теряй времени, гражданская жена. – цинично проговорила фельдшерица, наблюдая за манипуляцией с зеркалом. – Если умная такая!... Мы все служанки. Сейчас выпишу заключение. Вызывай труповозку, вот телефон.

– Кого... вызывать? – судя по голосу, Анна пришла в ужас.

– Мы мертвых не возим. – был ответ. – Есть специальные службы доставки в морг... Услуга платная, да и у вас тут ужасные дороги! Так что поторопитесь, пока приедет... Иначе придется ночевать с покойником. И дай мне паспорт умершего!

Анна не реагировала, испуганно повторяя, как мантру:

– Нет, ну отчего он мог умереть? От чего? От чего?

Фельдшерица заготовила тампон с нашатырем.

– Надо было дедушке соразмерять свои силы! – прошипела она, тыча тампоном в нос Анне. – Нахватают молодых девок, кобели старые! И коньки отбрасывают... Скажи честно, секс был?

Точно так бы сказала сестрица Лида, окажись на ее месте! Анна вдруг выгнулась как кошка перед опасностью.

– Секс? Был! Я вон три машины перегладила! И еще гора!

И свалила стопу белья со стола. Фельдшерица несколько сдобрилась.

– Завешай зеркала. – посоветовала она. – И часы останови.

– Зачем? – Анну знобило.

– Так положено.

Судареву захотелось погладить свою верную аспирантку. Он все это слышал, поэтому думал, что все-таки жив, коль его не пустили за приютские ворота, в пространство учительского домика, где пребывает Марина Морена – так про себя Сударев звал свою учительницу. И сейчас происходит забавное недоразумение, так напугавшее Анну. Он внутренне порывался успокоить ее, а вместе с тем выразить несогласие со своей смертью, например, голосом из потустороннего мира спросить, цел ли учительский домик на берегу карьера? Или даже приколоться, например, резко вскочить, рассмеяться, только Сударев пошевелиться и сказать ничего не мог.

Ко всему прочему, перед взором, в некоем подвешенном состоянии, вновь замерцало пространство за монастырскими воротами. Сквозь приоткрытую калитку высвечивалась другая комната, уже в леспромхозном бараке. И теперь там возлежала не учительница русского языка, а стриженная девица, дочь соседки тети Вали, причем уже не живописная, как на полотне, а тоже плотская, своим видом никак не похожая ни на ангела, ни на икону – разве что на образ Венеры, богини любви. И не смотря ни на что, притягивала воображение так же, как в детстве, отвлекая от реальности, происходившей на этом свете.

Сударев еще мысленно порывался вернуться в оставленный мир. Однако женщина подняла левую руку, бесстыдно оголив сакральный треугольник, и поманила к себе. И он мысленно согласился с фельдшерицей со «скорой» – было, от чего умереть шестилетнему мальчишке, если перешагнуть порог и войти. Сейчас он узнал манящую, точнее, вспомнил – та самая женщина, красоту которой узрел в шесть лет от роду и получил втык от сестрицы Лиды! Узнал и умом уже не детским – зрелым, матерым, однако изумленным, отметил, что она ничуть не изменилась, не постарела за последние полвека. Возможно потому, что не дождавшись, когда ее возьмут замуж, эта пьющая и распутная молодая женщина повесилась в этом же бараке. А мертвые не стареют. Или все-таки была живописью, искусством, будучи нарисованной дядей Сережей Трухиным, и потому способной пережить вечность. Картина на обратной стороне клеенки получилась неказистой, похожей на коврик с лебедями, но голая дева была очень похожа на живую. Сударев увидел это полотно, когда уезжал обратно в приют и пришел в барак, чтоб попрощаться с бывшими соседями. Убитая горем тетя Валя и показала ему клеенку.

– Вот она какая была, лебедица моя белая... И зачем же с собой сотворила такое?...

Сударев смотрел на клеенку, стоял и плакал.

Но тогда, в детстве, эта лебедица не подманивала к себе, была реальной, во плоти и просто спала в душевной барачной комнате, откинув жаркое шерстяное одеяло. И даже не проснулась – напротив, похмельная, так облегченно задышала, ощутив во сне прохладный сквознячок из приоткрытой двери. И все же накрыла узенькой ладонью волнуемый островок растительности. Тогда Сударев задохнулся от неведомых, никогда не испытанных чувств страха, восхищения и проснувшегося желания. Он еще не понимал, отчего замирает и сотрясается его природа, но прибежавшая Лида узрела его состояние.

Потом он узнал от сестры, как ее зовут – тетя Лена, которой тогда было лет двадцать. Говорили, будто она приехала в поселок к матери, но на самом деле чтобы выйти замуж за дядю Сережу Трухина – изобретателя, который жил в соседнем бараке и ничего, кроме своих железок и сварочного аппарата не замечал. Поэтому тетя Лена ждала от него предложения и по утверждению Лиды, квасила в одиночку. И по пьянке же повесилась – это уже когда Сударевы переехали из барака в новый дом. Но дядя Сережа Трухин успел нарисовать с нее картину, где изобразил точно такой, какой ее видел Сударев.

Можно сказать, он родился в приюте, с первых дней жизни оказавшись в доме ребенка, не знал матери, не сосал грудь и к шестилетнему возрасту никогда не был на пляже. Детдомовских ребятишек младшей группы еще не водили на реку, купали в большом деревянном корыте, поэтому он не видел взрослых обнаженными, ни мужчин, ни женщин, а сверстники, дети, выглядели иначе и весьма одинаково. Тут же вид совершенно голой девицы потряс, поразило его, поднял в душе не знаемую ранее, трепетную волну – даже ознобило до «гусиной» кожи! И еще не осознавая того, он догадался, что видит и будто прикасается глазами к некой, пока запретной, стыдливой стороне будущей жизни.

И этот ее аспект, этот мотив – самый главный, чтобы любить жизнь.

Сколько он так смотрел, испытывая новые переживания, неведомо, время в детстве бежало иначе, и в какую-то минуту был пойман на месте преступления вездесущей сестрой Лидой.

Судареву пытались дважды организовать семейное воспитание, и первый раз его усыновила многодетная пара из леспромхозовского поселка Лая. И у него появилась не только новая фамилия, оставшаяся на всю жизнь, но еще три младших и одна старшая сестра, девчонка рыжая, задиристая и ехидная. Она сразу же обозвала приемного брата Подкидышем, получила от родителей внушение, однако не успокоилась и продолжала так звать, когда никто не слышал. И вот Лида подкралась сзади, высмотрела, что делает новоиспеченный брат, и захлопнула дверь в комнату, где спала женщина.

– Ах ты, Подкидыш! Сопляк еще, а уже на голых девок пялится! Бессовестный, разве можно подсматривать за тетями? Как не стыдно? Я маме все скажу!

Говорила язвительным полупшепотом, верно, боялась разбудить спящую, ухмылялась и смотрела с прищуром, словно прицеливалась. И этот ее приглушенный, даже вкрадчивый голос почему-то сбивал с толку. С ябедами в детдоме расправлялись просто – устраивали темную, но усыновленный Сударев еще не привык к семейным нравам и не знал, как поступить с сестрой.

– Не рассказывай, – однако же просительным шепотом сказал он. – Лучше надери мне уши, если хочешь. Или потаскай за волосы.

Тогда они еще жили в двухэтажном бараке-общежитии, Сударевы занимали две маленьких комнаты на втором этаже и одну крохотную на чердаке, где старшие дети спали летом. Перегородки дощатые, тонкие, двери и вовсе из картона – даже шепот в коридоре слышно, хорошо, днем все взрослые на работе, только эта молодая женщина спала в своей комнате.

Недавно обретенных родителей Сударев еще никак не называл, и тут, видя, что Лида драть уши не станет, поспешил заверить, что с этой поры станет звать их папа и мама – жертвовать было больше нечем. Сестра никак не оценила его готовность, но почему-то отвела подальше в угол коридора, где горой лежал мусор и сломанная мебель.

– Зачем за тетей Леной подсматривал? – спросила она. – Только честно!

Надуться и отмолчаться тут бы не получилось, все рыжие девчонки были въедливыми и дотошными.

– Я не нарочно. – попытался соврать он. – Дверь приоткрыл, а там она лежит...

– Да ты же полчаса торчал у двери! Я за тобой следила!

И внезапно схватила за штаны, зажав рукой писюлю. Он попытался вырваться – не получилось.

– А это что? Какой уже крепкий гвоздик! Ишь ты!...

И сама смутившись, разжала руку. По веснушчатому ее личику поползли розовые пятна, словно солнечные зайчики.

– Говори, зачем подглядывал?

Судареву стало стыдно до покраснения, как говорила воспитательница в приюте, но не от того, что подглядывал – от того, что вынужден был рассказывать это старшей сестре, еще чужой девчонке.

– Никогда не видел голых женщин. – неожиданно по взрослому признался он. – Чтоб совсем голых...

– Маленький еще, смотреть. – выговорила она без прежнего ехидства. – Ну и что ты увидел? С таким гвоздиком?

– Почему-то у нее волосики растут. – что думал, то и сказал Сударев. – Вот у тебя волосиков нету, а у нее есть.

– А ты видел? Может, есть!

– Видел. – признался он. – Когда ты утром спала, рубашка задралась...

– И за мной подсматривал?

– Совсем немножко. За тобой смотреть не интересно...

– Почему не интересно? – возмутилась Лида. – А за тетей Леной интересно, да?

– Ты же мне сестрица...

– Я тебе не родная сестрица!

– А мне так хочется, чтобы ты родной стала! – с зажатым трепетом признался Сударев. – Такой родной-родной!

Он не собирался подлизываться к ней, однако сестрица решила именно так, схватила Подкидыша за руку и повела домой. Там посадила на табуретку посередине комнаты и взяла мухобойку.

– Родителей можешь звать, как хочешь. – вдруг заявила она, хлопая мухобойкой по своей руке и показывая тем самым свою полную власть. – Но теперь будешь делать то, что я тебе прикажу. И только попробуй не послушаться! Расскажу маме, как подглядывал за соседкой – тебя снова сдадут в приют!

Лида была старше всего на два года, но уже перешла в третий класс – раньше отдали в школу, училась на «отлично» и считалась не по возрасту умной девочкой. Младшие сестры ходили в детский сад, а ее оставляли дома, присматривать за усыновленным Подкидышем, убираться в комнатах и полоть грядки, вскопанные под окном.

Сударев тогда не испугался ее строгости, но все-таки дал слово повиноваться старшей сестре, поскольку обратно в детдом очень уж не хотелось, по крайней мере, летом. Лида любила играть в учительницу и обещала родителям подготовить приемыша к школе, чтобы, как и она, пойти шестилетним и чуть ли не с первого дня начала с ним заниматься. Сударев относился с прилежанием, но не потому, что стремился к учебе; хотелось скорее стать взрослым, ибо детство опостылело, как только он осознал свое сиротское положение.

Осенью в школу его не взяли, хотя он научился читать, писать и считать до тысячи, а ближе к зиме, когда многочисленное семейство Сударевых получило большую отдельную квартиру в новом доме, Подкидыша на самом деле вернули в детдом, бывший неподалеку от областного города. И он вернулся в свой монастырь даже с радостью, поскольку там оставался беспризорный подопечный мальчишка Аркашка, у которого Сударев был наставником. Когда расставались, Лида неожиданно вынесла из дома свою большую перьевую подушку и стесняясь, сунула в руки.

– На память. – шепнула она. – И чтоб сны смотрел...

Однажды Сударев пожаловался, что подушки в приюте ватные, комковатые, он отлеживает на них уши и совсем не видит снов.

Но это усыновление оставило не только фамилию и детскую обиду на несостоявшееся семейное счастье; на всю жизнь осталось воспоминание о первичности того, что происходило жарким летом в леспромхозовском поселке. И это навсегда избавило его от чувства сиротства. Чего бы потом он не касался, даже самых сложных отношений между людьми, все они были прямо или косвенно связаны с его детскими впечатлениями, когда он был братом Лиды, хотя их трудно было назвать братскими. Она не только тайно от родителей подарила подушку на прощанье, и он стал мечтать, лежа на ней; она научила Сударева читать и писать, и он всю жизнь потом писал ей письма, называя ласково – сестрицей.

2

И вот за несколько дней до того, как положить голову на эту мягкую подушку и умереть, он выбрал из сотни приближенных двух самых близких – Лиду и еще Аркашу Ерофеича, пригласив их на собственную свадьбу. И указал, кто невеста. А своей аспирантке Анне вообще ничего не сказал о предчувствиях близкой кончины, хотя они прожили вместе полтора года. Она была молодой поэтессой, филологиней, аспиранткой, гордой женщиной и когда-то предупредила, что не желает быть вдовой профессора, не хочет, чтобы ее заподозрили в стяжательстве. В самом начале совместной жизни по просьбе Анны они сели и обговорили все эти вопросы. Не смотря на молодость, аспирантка была женщиной практичной, любила ясность в отношениях и не боялась говорить о смерти. Тогда она и определилась: как только Сударев не станет на этом свете – она немедленно уйдет. Потому что пришла к нему не за деньгами, имуществом и выгодами, как это делали другие женщины, и греться в лучах его славы тоже не собирается. А будет служить ему как достойнейшему мужчине: начиталась какой-то самопальной ведической литературы и выбрала себе путь.

Как бы там ни было, а ее замысел отличался высоким благородством, поэтому Сударев обещал, что прежде, чем уйдет, не бросит на произвол обстоятельств и обязательно отыщет мужчину и устроит ее судьбу. Такая конкретность была понятна для Анны и ею приемлема: наступил век жестокого практицизма! Однако предупредил, что ждать этого часа ей придется лет триста – раньше он умирать не собирается.

Выбор, кого звать на свадьбу, был не случайный: чужая девочка, ставшая ему сестрицей, с детства прилепилась к Судареву – сама так говорила, и пронесла свои чувства через всю жизнь. И он любил Лиду, как сестру, и это было в жизни профессора единственной родственной привязанностью. Ни с кем больше не было таких отношений! Между их встречами проходили годы, но когда они случались, возникало чувство, будто расстались вчера. Судареву становилось тепло от одной мысли, что есть на свете женщина, воплощающая в себя все женские качества – сестры, матери, подруги, советчицы и даже любовницы, хотя все время обходилось без привычных этому слову, действий. Зато можно было вволю пофантазировать на эту тему, особенно в грозные ночи, когда в детстве Лида превращалась в маленькую ведьму.

А от Аркаши Сударев ждал покаяния, ибо за ним числились тяжкие грехи, давно уже искупленные временем, однако виновником так и не признанные. Судьба свела их в детском доме, где Сударев был старожилем, Аркашка же пришел новеньким и всего боялся до телесной трясушки. И еще он постоянно гримасничал, косоротился и по ночам скрипел молочными зубами. Воспитатели говорили, это у него от пережитого испуга, лихomanка бьет, требуется длительное лечение и доброе отношение к ребенку – тогда еще не говорили слова «реабилитация».

В приюте каждому новенькому или младшему по возрасту назначали наставника, и тогда еще не Судареву, а пятилетнему Лешке достался этот парнишка. А пять полных детдомовских лет соответствовали пятнадцати годам жизни ребенка в семье. Сиротство умножало знание жизни в три раза, хотя этого никто, кроме испытавших такое состояние, не признавал. Привязывая к воспитанникам младших подопечных, в детдомовских ребятишках воспитывали не братские – скорее, родительские чувства. Наставник отвечал за все, за учебу, развитие, поведение, здоровье, аппетит, настроение – даже за формируемый характер воспитанника, и в конце каждого года подопечный сдавал экзамен, который был оценкой и попечителю. Аркашка был младше всего на семь месяцев, но сильно отставал в развитии, поскольку был вырван из семьи алкоголиков, и Сударев возился с ним с подъема до отбоя целый год. И так привязался, что когда его временно усыновляли, то оба они по мужски тихо плакали, расставаясь.

– Ты иди, Лешка. – подавляя всхлипы, косоротился Аркаша. – С родителями всегда лучше, даже с пьяными. А я тут как-нибудь переживу.

Сударев очень рано ощутил отеческие чувства, с которыми потом и жил до восемнадцатилетнего возраста, считая воспитанника своим первым сыном. В общем, дотянул Аркашку до призывного возраста, уже не в приюте, а в специнтернате, и когда в военкомате об этом узнали, то Судареву дали полгода отсрочки, чтобы служили вместе. Армия их потом развела, но вот это родительское отношение, оказывается, сохранилось на всю жизнь, и избавиться от него было невозможно. У профессора от разных браков родилось пятеро детей, но это по подсчетам женщин, когда-то претендовавших на алименты. Хотя он сам считал, что у него есть только один сын, дитя любви, коего он никогда не видел воочию, зато много раз в воображении. И так затвердил свою мечту, что в нее поверил. Однако Аркаша в его жизни появился еще раньше, и привязанность к «первенцу» оказалась сильнее, чем к кровным сыновьям. Возможно потому, что Сударев был ему отцом, матерью и братом одновременно, и сердце екало сильнее при одном воспоминании – как он там?

Профессор пригласил на свадьбу самых близких, лег и скончался на закате солнца, и последним кадром этого света стала Анна, стоящая возле гладильной доски. Смерть наступила скоропостижно, без болезней и прочих видимых причин – по крайней мере, так решила фельдшерница «скорой» и выписала справку. А поскольку сам Сударев считал себя еще живым, то лежал в загородном коттедже, еще не достроенном, стоящем на отшибе у жилой подмосковной деревни, и, не смотря на заключение медицины, ждал приглашенных гостей. Анна не побежала прочь, исполняя зарок, а перепуганная и сломленная, все же поддалась на уговоры фельдшерницы и вызвала труповозку.

Не прошло и получаса, как на крыльце застучали, причем, не в дверь – по полу. А овчарка от чего-то радостно повизгивала и тоже стучала лапами, танцуя у двери. Пришел кто-то знакомый, и Анна открыла, не спрашивая. На пороге оказалась маленькая, тщедушная старушка, эдакий божий одуванчик с костыликом в трясущейся руке и обвисшей матерчатой сумкой.

– Сказали, покойник в этом доме, – вымолвила бабуля. – Так я почитаю над ним. А то увезут в морг...

Аспирантка не сразу и сообразила, что она хочет.

– Вы из церкви, бабушка?

– Нет, сама по себе. Деревенская я, местная.

– Отпевать будете?

– Дыхания нет отпевать – отчитывать стану. Да и тебе не одиноко тут будет, с покойным.

– Не знаю, как и поступить. – растерялась Анна.

– Не бойся, я многих отчитывала. Особенно которые на дороге застряли.

– На какой дороге?...

– Повисли которые, между небом и землей. – пояснила старушка, – Ни взад, ни вперед.

Вот я и подсобляю им определиться.

– И можно вернуть на этот свет? – трепыхнулась надежда.

– Это уж как сам пожелает! От меня не зависит...

– Вы при жизни профессора знали?

– Как же не знала. – смиренно вымолвила она. – Он же тут у нас жил, как Лев Толстой в Ясной Поляне. Всех нас сирых и убогих знал и с уважением относился. Бывало, идет босой мимо нашей деревни, непременно шапку снимет, с каждым за руку поздоровается. Ласковый был человек.

Аспирантка слушала ее и терялась, ибо ни разу не видела, чтобы профессор босым ходил да еще в шапке, которых он не носил ни летом, ни зимой. И вообще ее слова отдавали литературностью, но это не расходилось с обликом старушки, напоминающей сельского библиотекаря.

– А мне много раз денег давал, – похвасталась она. – Я в бедности жила. Вот в благодарность и хочу над ним почитать.

Отказать ей было невозможно, и все-таки Анна попыталась это сделать, ведомая внутренним позывом.

– Профессор не крещенным был, он же в детдоме рос. Хорошо ли будет, молится за некрещеного?

– Молится за всякого человека всегда хорошо. – заверила бабуля. – Пусти, я не помешаю. Сяду в изголовье, зажгу свечечку и шепотком читать буду.

– Проходите, бабушка. – у Анны всколыхнулась волна благодарности. – Спасибо вам. Профессор сам читал и любил, когда читают...

– Знаю я, слышала.

Она сняла старомодные калоши с ботинок и направилась к спальне трепыхающейся шаркающей походкой явно из-за болезни Паркинсона. Анна проводила, поставила в изголовье стул и дала плед.

– У нас прохладно...

– Благодарствую. – вымолвила старушка, доставая из кошелки толстую, старую книгу. – Я не помешаю, незаметно так буду сидеть...

Однако из той же сумки достала свечу толстую, в узорах и со старинной позолотой. Угнездила ее на спинке кровати, благо, что там полочка была для светильника, и зажгла ее спичками, неловко ширкая по коробку трясущейся рукой.

– Хочешь, так постой, послушай. – предложила старушка. – Это ведь у меня святое писание.

– Пожалуй, я пойду. – уклонилась Анна. – Машина из морга придет, а там собака и у нас звонок не работает...

– Скоро не придет. – успокоила начетчица. – Не торопись. У нас такие дороги...

Аспирантка вышла в переднюю, заперла входную дверь и поднялась в кабинет профессора, где стоял старый купеческий сейф. Несмотря на полтора года совместной жизни и полное доверие профессора, она никогда не видела содержимого. Но знала, денег там нет, зато много важных бумаг, рукописей, статей и даже ее собственная монография, которую нельзя печатать. Анна обыскала письменный стол, ближние и дальние шкафы, ящики старых конторок, заветные места, но ключей не нашла. Тогда она пошла в гардеробную и проверила карманы всей одежды Сударева, однако и тут ничего не было. Целый час она шарила по укромным углам, вешалкам, сумкам и портфелям, и рыскала бы еще, но позвонили из ритуальной фирмы и назвали сумму за вывоз тела. Аспирантка пришла в ужас, ибо денег в доме оставалось, чтобы продержаться три дня на голодном пайке. Найти же их поздним вечером, живя на отшибе у цивилизации было не реально.

Сударев опять попытался встать и объяснить, что ее разводят, что существует медицинская мафия «скорой помощи» с фирмами ритуальных услуг и вдову сейчас подсадят на крупную сумму, вгонят в долги. Предостеречь хотел неопытную в таких делах, аспирантку, однако тело по прежнему оставалось неподвижным – даже пальцем не шевельнуть. А был готов сам встать и пешком уйти в морг. Дабы не подставлять аспирантку. Он пожалел, что не предупредил о своей скорой смерти бывшую жену Власту или дочь Катю, живущих в Москве – эти бы быстро все организовали и не позволили наживаться на чужом горе.

А не предупредил, потому как не хотел оскорблять чувств Анны, которая не выносила их присутствия, робела, теряла всяческую инициативу, как перед довлеющими самками и убежала бы из дома в свое общежитие. Не зная их отношений, эти женщины считали, что молодая аспирантка умышленно обворожила, присушила и низвела их мужа и отца до полного ничтожества, чтобы завладеть научным багажом профессора и Фондом, который он возглавлял. Они пребывали в некоем заблуждении, толком даже не знали, чем занимается профессор, и пользо-

вались слухами о невероятной его таинственности и успешности. Бывшая супруга вообще где-то разузнала, что Сударев – генерал, имеет связи с высшими властями, работает под их прикрытием и ворочает несметными капиталами, приходящими из секретных источников. Однако сам прикидывается всего лишь литературным критиком, читая лекции в институте, и вечно стонет, будто этот жанр находится в полном упадке.

Сударев на самом деле сотрудничал с властями и спецслужбами, назначение которых он не знал, но читал им лекции по искусству воображения и давал практические семинары – учил группу офицеров мечтать. То есть, воспроизводить в сознании возможное развитие тех или иных событий до реалистических подробностей и деталей; короче говоря, до мнимой материализации. Профессор считал, что любая фантастическая картина, всплывшая в сознании человека, имеет место быть в реальности, только нужно установить ее время и пространственное расположение. Кроме того, овладев высшей степенью совершенства воображения, можно научиться коммутировать, то есть как по телефонной связи подключаться к сознанию любого другого человека, поскольку каждый разумный мечтает и воображает. Это и есть фантастическая телепатическая связь, где нет никакой фантастики.

Дочь Катерина мать не поддерживала, хотя после развода жила с ней, и доказала, что ее папа по воинскому учету – сержант запаса и пулеметчик, а за свои лекции военным получает совсем не много. Власть несколько успокоилась, однако прыти, выяснить, кто же на самом деле ее бывший муж, не усмирила. Ей и в голову не приходило, что ни багажа, ни денег нет, есть только этот недостроенный коттедж, бывший в собственности Фонда, и долги по кредитам, а что было когда-то, все бездарно и безвозвратно ушло в нереализованные проекты, касаемые литературного творчества.

Сударев и в самом деле умел привлекать финансы, убеждая состоятельных предпринимателей и банкиров раскошелиться на благо отечественной культуры, и по свидетельству своих сподвижников, обладал редкостным талантом притягивать деньги, используя опять же искусство воображения. Но совсем не такие деньги, чтобы озолотиться самому и обеспечить свое ближайшее окружение, особенно страждущих и ищущих женщин, которым вечно не хватало средств к существованию. А они, бывшие близкими профессору и удалившиеся по своей охоте, глубоко чувственные, мягкие по характеру и огрубевшие от беспросветности существования, романтичные и прагматичные – все требовали у него материальных благ.

Сударев был мечтателем, еще с детдомовских времен, когда оставался один на один с подаренной мягкой подушкой после всеобщего отбоя. Он лежал, закрыв глаза, будто спал, а сам предавался безудержным фантазиям, соответственным времени жизни. И если на казенных простынях приюта ему приходили видения, что его опять усыновила многодетная пара из леспромхоза Лая, то в последние годы жизни все чаще приходили картины, как он лежит на смертном одре, а к нему сходятся, сбегаются и съезжаются все женщины, с которыми он был в отношениях близких и сокровенных. С этого должен был начаться так и не написанный роман. Сударев мысленно разговаривал с каждой, опуская всяческие меркантильные интересы, вспоминал самое важное, интимное и опять всех любил до неистовой, щемящей страсти. Свежесть и новизна отношений была настолько острой, что он часами не в состоянии был погасить яркости чувств, уже в который раз переживая их возвышенное торжество. Неведомым чутьем, будучи на расстоянии, Сударев в такие мгновения будто вызывал дух своей прошлой избранницы и вступал с ним в диалог, слушая некие запоздалые покаяния.

Иногда эта мечтательность растягивалась не на одну ночь, не давая разомкнуть глаз, но все окружающие – дети, жены, подруги и друзья, ничего не подозревали, полагая, что он крепко спит. Однажды Анна перепугалась, решив, что он без сознания, когда Сударев вспоминал и беседовал в своем воображении с учительницей русского языка, которую звали Марина Леонидовна. Оказалось, что он лежит неподвижным и бездыханным девять часов! И только поднесенное к губам, зеркало показывало, что жизнь еще теплится в его организме. Поэтому Анна не

поверила фельдшернице со «скорой», а тогда, очнувшись от путешествия в мир грез, он честно ей признался, что всю жизнь любит свою учительницу и сейчас мечтал о ее возвращении из мира духов в реальный образ. Аспирантка была склонна к эзотеризму, профессору поверила, однако спросила с материалистической ревностью:

– Как можно любить? У вас такая разница в возрасте!

– У нас с тобой тоже. – отозвался он. – Но ведь ты меня любишь?

– Я вам служу. – был ответ. – А это больше, чем любовь.

После подобных мечтательных экскурсий в прошлое оживал не он – люди, которых Сударев касался мыслью, словно набрасывая им на голову неотвязную пелену воспоминаний. Особо чувствительные женщины возникали из небытия почти сразу после «сеанса», начинали звонить или писать, в том числе, на Литинститут и Академию наук, потеряв прежние адреса. Таким образом он нашел многих своих возлюбленных, связь с которыми давно утерять, и они если не испытывали счастье возврата к прошедшему, то ощущали радостные чувства, что их помнят, думают о них, а значит сиюминутный эпизод, вспышка мимолетных давних увлечений не были случайными. Глупость забывается быстро и напрочь – любовь никогда, если от нее осталась малая царапина и о тебе кто-то помнит, пронося образ через всю жизнь. Иначе не вызвать дух, не оживить память, не содрать с нее корку забвения.

В этой связи Сударев вывел даже термин – обнажение чувств. Он писал, что человек рождается с единственным чувством, ставящим его в один ряд с диким зверем – чувством голода. Дабы напитать плоть и выжить, младенец с рождения запечатывается в кокон детского эгоизма, и родители холят и лелеют это состояние. И на протяжении десятка лет, пока ребенок растет, все остальные чувства либо отсутствуют, либо находятся в зачаточном состоянии, подавленные мощным стремлением утолить голод. И в отрочестве, комплекс чувств создающих, особенно любовь к родине, к близким, к женщине, начинают развиваться по принципам существования животного голода, ибо других образцов отрок не испытывал. Его поведение становится таким же примитивным: не хватает пищи на родине, можно бросить ее и уехать, где вкусная еда, перестали кормить родители, почему бы их не оставить и не найти новое пастбище. Мало заботы и ласки женщины – есть множество других, где все это можно получить в свежем виде.

Профессор сетовал, что наука рассматривает чувства, как нечто виртуальное, не имеющие молекулярного воплощения, однако развитие их происходит по тем же законам, что и явления сугубо материальные. Под воздействием довлеющего чувства голода начинается детерминация клеток мозга и перерождение их «чувственного» содержания в центры, отвечающие за мир удовольствий. Поэтому с ранних лет жизни человеку требуются не только солнечные ванны, водные процедуры и прочие мероприятия по оздоровлению тела, но и обнажение чувств, дабы испытывать и закалять их, как все физическое.

В доказательство своих выводов, уже в шутку, он приводил пример возникновения любви с первого взгляда, особенно взаимной, которую Сударев считал вообще чувством материальным во всех смыслах. Даже если она не удалась, то за нее потом приходилось шататься по судам, платить алименты, обеспечивать жильем возлюбленную и совершать прочие действия, требующие много средств, времени и сил. Но не взирая на опыт, он все равно продолжал рассматривать женщин, искать ту, что отзовется на один только мимолетный взгляд, и между совершенно незнакомыми, чужими людьми пробьет волнующая, сводящая с ума, чудотворная искра. Разве не этого ежечасно, ежеминутно ищут и ждут мужчины и женщины? На улицах, в метро, в магазинах и театрах, в самолетах и на пляжах – везде, где появляются созданные по образу и подобию божьему разнополюсы существа. Причем, ждут любые – совсем юные и матерые, холостые и женатые, свободные и затурканные проблемами семейной жизни. Стоит только оглядеться вокруг, и увидишь миллионы охотников и охотниц!

И если даже не свела судьба после первого обнажения чувств, эту искру можно вызвать и материализовать снова, уже в воображении: лечь, расслабиться, отогнать все пустые, никчемные мысли о земном и подумать о вечном.

Так он вернул многих женщин, кроме своей учительницы Марины Морено и сестрицы Лиды, которая исчезала бесследно после каждого замужества, а их было четыре только официальных. Эта рыжая, своенравная женщина всю жизнь оставалась, как в детстве – властной и вздорной, что еще более усилилось в отрочестве. Даже ее образ было трудно воспроизвести в воображении, не то, что послать призывный сигнал. Взрослой, не смотря на профессию педагога и звание Заслуженного учителя, она стала выглядеть вульгарно, даже вызывающе, но приманивала и подминала под себя самых сильных мужчин, а потом теряла к ним интерес. Они, мужчины, все равно тянулись к ней даже после критического сорокалетнего возраста, и когда Сударев встретился с ней, это была располневшая, развязанная, халдистая особа с прокурренным хрипловатым голосом. Появилось что-то ведьминско-привлекательное, чародейское, а иначе было невозможно объяснить притяжения к ней молодых парней. На последнее свидание с братом сестрица пришла в сопровождении двадцатилетнего хлопца, который взирал ревностно и откровенно дрожал, пока они тискали друг друга в объятьях. А когда эта грузная дуреха еще и запрыгнула на Сударева, обхватив ногами талию, ее спутник завыл и в отчаянии побежал по улице. Но был остановлен окриком:

– Куда?!... А ну ко мне! Рядом стоять.

Парень послушно вернулся и поплелся возле ноги, как верный пес.

И еще под воздействием мечтательных воспоминаний и обнаженных чувств Сударев вернул детскую ее подругу Нину, с которой они растерялись сразу после армии, много лет не виделись и встретились, благодаря некоей необъяснимой телепатической связи. Он вдруг затосковал и буквально вызвал дух кареглазой красавицы, воссоздав в памяти живой образ. И будто прикоснулся к нему рукой! Уже через сутки Нина примчалась к нему в Литинститут, ибо тайно от влиятельного, богатого мужа, да и от себя, всю жизнь следила за судьбой Сударева. Правда, это уже была не та притягательная, изысканная и ухоженная особа, с которой в последний раз встречались лет двадцать пять назад, когда Сударев лечился после ранения в госпитале Бурденко и шкандыбал на костылях. Однако авантюрный характер был прежний, узнаваемый или даже усиленный годами, избавленный от предрассудков. И наряды модными, изысканными для полунищих девяностых. Они до утра гуляли по Тверской и Гоголевскому бульвару, возрождая в памяти своих полузабытых земляков из леспромхоза, тех, немногих мальчишек и девчонок, учителей и просто соседей по бараку, а потом Нина загадочно и шаловливо спросила:

– Хочешь, покажу секрет?

– Хочу. – сказал он, догадываясь, что она покажет.

Нина оглядела по утреннему пустынный бульвар, подняла стильную, зауженную юбку и спустила трусики. Волосиков у нее не было, как в детстве, но уже из-за бритья в специальном салоне, и это вызвало обоюдный, веселый и целомудренный смех. Пожалуй, еще час они веселились по этому поводу, но их хохот все больше напоминал скрытый плач навзрыд, даже слезы выступали. И так со слезами, оплакивая детство, юность и молодость, они потанцевали по бульвару медленный, скромный танец и расстались, когда муж Нины прислал за ней автомобиль.

Еще одно памятное возвращение прошлого случилось уже без вмешательства женских чар: Сударев начал думать о своем детдомовском воспитаннике, испытал крайнюю степень тоски и вызывал дух Аркаши Ерофеича. Когда-то их вместе призвали в армию и как безродных, в самый разгар боевых действий отправили воевать в Афган, чтоб родительского спроса не было, если привезут двухсотым грузом. Однако срабатывал обратный эффект: солдаты, выросшие в семьях, гибли чаще, безродные детдомовские выживали, ибо давно привыкли выживать

и умели это делать. По крайней мере, перед выходом на операцию их никогда не прохватывал понос.

Они оба остались живы, но после войны растерялись и долго каждый жил сам по себе, того не ведая, что не сговариваясь, оба устремились в литературное творчество. Сударев закончил Литинститут, защитил кандидатскую и уже стал заметным критиком, когда обнаружил на прозаическом небосклоне имя однополчанина, который сваял роман «Афганский прыжок» – про войну в стиле суровой, мужской прозы. Войну тогда осуждали, говорили о бессмысленности жертв, дурацкой военной машине, имперском духе и правда никому была не нужна. Аркаша написал про силу воинского духа, мужество и русский характер, причем, талантливо, зрело и великолепно образным языком, однако на него ополчились всей критической массой, самый ленивый не пинал молодого автора. Даже в плагиате обвиняли, мол, не может так писать солдат, бывший санитаром, а главный герой там был снайпером. В общем, чуть в грязь не втоптали. И тогда за него, на время забыв прошлые грехи сослуживца, вступился один Сударев, вызвавший на дуэль всех обидчиков.

По условиям, стреляться нужно было возле памятника Пушкину, на рассвете, из охотничьих обрезов. С критиком да еще в прошлом, с пулеметчиком, выходить к барьеру никто не захотел, а косоротый Аркаша, по природной наивности своей не догадавшийся, кто за него вступился, встал в позу и принялся отмахиваться от всех нападающих без разбора. Критика Сударева он принял за однофамильца сержанта-пулеметчика из своей штурмовой роты, не допуская мысли, что он – детдомовский воспитатель и наставник. По его разумению, известный литературовед был выходцем из высшей элиты общества, сынок тогдашнего заведующего отделом ЦК и в Афгане быть не мог, а значит, провокатор. Кроме того, Аркаша вместе с творчеством обрел взрослую лихоманку – дрожал от повышенного чувства индивидуалиста, считал себя литературным гением-самородком и не мог представить, чтобы в одном полку, даже в одной дивизии родилось два литератора. Поэтому с присущим его таланту, гонором отверг заступничество Сударева, и на все предложения встретиться, не отзывался.

А за Аркашей в приюте водился грех – любил красть, причем, все подряд, нужное и не нужное. Тырил, что плохо лежит, от хлеба в столовой до авторучек сокашников и часов воспитательниц. Был не раз пойман с поличным, уличен и сурово наказан, но удержаться не мог. Сударев все годы в приюте пытался отвадить от дурной привычки, даже лупить пробовал – ничего не помогало. От лихоманки оказалось легче избавиться! Аркашу показывали врачам, которые твердили, что признаки kleptomании есть, голодное детство, но это с возрастом пройдет.

Не прошло: когда сержант Сударев оставался в ущелье прикрывать отход взвода, и ему отдавали последние патроны и гранаты, Аркашка спер полную пулеметную ленту. Больше некому! Прихватил непонятно, зачем, пулемета у отступавших не было, а сам он вообще был санинструктором роты, перевязывал и таскал раненных. Судареву как раз ленты и не хватило, чтобы отбиться от душманов, пришлось уползть с пулей в ногу, разворотившей ступню, и отстреливаться одиночными. Когда патроны кончились, он зашвырнул пулемет в каменную осыпь, ибо пулеметчиков в плен не брали, зарыл документы, после чего спрятался сам. Рассчитывал отсидеться, пока не подойдут свои, но они не подходили, только прилетали вертушки и постреляв ракетами, ушли. Духи отыскивали его через сутки, когда ногу разбарабанило до колена и поднялась температура. Голову рубить не стали, увели с собой и продержали в плену два месяца.

Вот про эту украденную ленту Сударев и напомнил скандальному писателю. Аркаша узрел висящий над собой меч, прилетел в тот час же, наставника и однополчанина своего признал мгновенно, и по-кавказски клянясь матерью, заверил, что патроны не воровал. Говорил убедительно, со слезой и страстью – убеждать он умел, обнажая чувства, и Сударев оценил это, еще читая Аркашину жесткую, психологичную прозу.

В общем, его мечтательное воображение почти всегда помогало материализовывать образы близких людей, кроме единственного человека, увидеть которого он с годами хотел более всего – учительницу русского Марину Леонидовну, или просто Марину Морено. Вызываемый ее дух почему-то упрямылся и не желал объявляться, скромно и как-то стыдливо отмалчиваясь. Его присутствие он ощущал, и даже пытался заговорить, подобрать слова искренней благодарности за науку, особенно за уроки любви, однако в ответ слышал некий шелестящий, неразборчивый шепот и шуршание шинельного сукна.

Когда появился интернет, Сударев уже напрямую обратился к ней в соцсетях, ждал много месяцев и не получил ни каких вестей, хотя писал общим знакомым по приюту, которые должны были помнить, кто целых полгода давал уроки литературы и русского в шестом классе. Никто не помнил! Словно память о себе стерла. Словно ее и не было, словно никто не завидовал Судареву, когда она взяла его на попечение. Будто не водила она детдомовскую ребятню купаться на песчаный карьер старого стекольного завода, возле которого жила в учительском домике. Словно не жгли костров на песке, дабы согреться после холодной майской воды, не прыгали через огонь и не водили хороводов с пением древних весенних закличек. Никто больше из учителей не баловал так сиротские души, не по учебному тексту – по жизни сочиняя истории о любви между мужчиной и женщиной. Загадочные, романтические, пронизанные единственной мыслью, поиском своего избранника.

Она сочиняла стихи, записывая их прямо на песчаной отмели. А потом она давала Судареву основы теории стихосложения, понудила его к творчеству и весной оформила опеку...

Ее нельзя было забыть! Марине Леонидовне сразу же приколотили прозвище – Коса из-за огромного, толщиной в руку, пучка каштановых волос на маленькой, почти детской головке с тонкой и длинной шеей. Обычно она заплетала их, чтобы в школе быть строгой и аккуратной, но вынуждена была носить тяжелую косу в руках, чтобы не оттягивала голову. Коса доставала земли, поэтому учительница пользоваться ею, как плетью, в шутку стегая лентяев и хулиганов. Судареву попадало много раз, и чтобы получить еще, он умышленно безобразничал на ее уроках. Вне школы она расплеталась и скручивала волосы в жгут, который носила на плечах, как воротник. Когда она впервые вошла к ним в класс, Сударев сразу же подумал, что где-то ее уже видел – то ли в монастырской трапезной, где была столовая приюта, то ли в спортзале, то есть, в храме. Лицо знакомое, но видел не долго, мельком, так что в памяти остался лишь взор из-под приспущенных выпуклых век. Сразу вспомнить не мог, поэтому ходил и все время об этом думал.

Да разве можно не запомнить женщину, читающую вслух и с выражением Чеховскую «Каштанку», а ты сидишь перед ней, видишь только ее глаза с приспущенными веками, пухлые, чувственные губы, всегда чуть влажные и трепетные?

В последние годы он стал думать, что Марина Леонидовна, наверное, давно в мире ином, поэтому не отзывается. Затосковал так, что потерял интерес к этому свету, не простившись с близкими, умер. Точнее, повис между мирами, наконец-то увидел учительницу, только понять было невозможно, на каком свете она пребывает? Где сейчас учительский домик?

И от того, где он, довершить переход или уж вернуться назад, в этот мир.

3

Первым по письменному вызову примчался Аркаша. Из косоротого, трясущегося мальчишки вырос чуть ли не саженный мужчина-красавец с благородным породистым лицом викинга, что подчеркивала рыжеватая борода, косичка на спине и увесистая трубка. Приехал на такси, сразу после «скорой», но не вошел и не постучал – присутствие постороннего выказала овчарка. Анна вышла на лай, обнаружила некую темную фигуру у крыльца и окликнула.

– Здесь живет профессор Сударев? – Аркаша выступил из сумрака, защищаясь от собаки портфелем.

– Здесь. – отозвалась она. – Вы кто?

– Аркадий Дмитриевич Ерофеич, по приглашению Алексея Алексеевича... Он не спит?

– Он не спит. – сказала Анна. – Он умер.

– Как – умер?... Прислал письмо! Позвал на свадьбу!

– На свадьбу?

– Ну да! Завтра утром венчание... С тобой?

– Не знаю, – обреченно проронила она. – Он ничего не говорил. Может, и собрался венчаться. Только не со мной...

– Я тоже подумал, какое венчание? Мы же детдомовские, не крещенные... А ты меня узнала?

– Да, мы как-то виделись, на вокзале...

– А он оставил какие-нибудь распоряжения?

– Скончался скоростажно. Во сне...

– Может, раньше что-то наказывал?

Анна взялась за голову.

– Я сейчас ничего не соображаю... Проходите.

В передней Аркаша бросил портфель и точно указал на дверь, за которой лежал покойный.

– Там?

– Там...

Будучи когда-то санинструктором штурмовой роты в Афгане, он еще не забыл медицинских навыков, по крайней мере, живых от мертвых отличал. И тут, покосившись на увлеченную чтением, старушку, пощупал пульс, оттянул тугое, костенеющее веко и сел на подставленный Анной, стул.

– Как же так? Пригласил на свадьбу. А сам... Свадьба, это аллегория? Или все-таки на тебе хотел жениться? Признавайся! Невесту назвал Марина Морена.

– Меня зовут Анна.

– А псевдоним? Ты же вроде как поэтесса?

– Я говорила, про женитьбу профессора мне ничего не известно. – уклонилась Анна.

– Да, выдумщик был еще тот!... Смерть, это тоже женитьба, венчание. Впрочем, не исключено, что он вообразил свою кончину.

– Как это – вообразил? Разве это возможно?

– У Сударева все возможно. – заявил Аркаша. – Это же мечтатель! Прикинулся мертвецом, чтоб посмотреть, что мы станем делать...

– Вы что, идиот? – грубо спросила Анна и поправилась. – Простите за прямоту. Но вы несете вздор! Зачем такое воображать?

– Цели могут быть разные. – сбился известный писатель. – Над нами приколоться, например...

– Как вам не стыдно?

– Мне уже стыдно. – сдался Аркаша, исподволь рассматривая вдову. – Я покраснел, посмотри на мой нос?

Сударев обрадовался, что первым пожаловал приютский воспитанник, но выразить этого никак не мог. В зеркальном его сознании отсутствовали мысли встать, пожать руку, обнять и сказать какие-то слова. Все это было не нужно, а ощущение радости пузырилось и пенилось, как водопад, существующий над его головой. Но что вертелось в его отстраненном от тела, разуме, это спросить про учительский домик на берегу карьера – цел или нет? Аркаша последнее время жил при монастыре, где был когда-то приют, а это всего в двух верстах от поселка стекольного завода. Если ехать в город, то домик этот хорошо видно с дороги, по крайней мере, его пирамидальную крышу.

– А мне все кажется... он жив! – со слезой проговорила Анна. – Не верится...

Аркаша подавил пальцем кожу на предплечье – после нажима оставались лиловые пятна.

– Нет, Анна... – вымолвил с надеждой. – Началось трупное окоченение... Он ничего не оставлял для меня? Рукописи, например, документы?

– Какие рукописи? О чем вы?

– Может, высказывал пожелания? Ко мне? Или как-то иначе выражал отношение?

– Да, кажется, позавчера. – припомнила Анна. – Я убирала в кабинете... Профессор сказал, надо провести Арканю сквозь чистилище.

– Сквозь чистилище? Что это значит? Помыть с мылом?

– Не знаю... Сейчас не до этого...

– А мне это очень важно! – Аркаша схватил ее за плечи. – Что еще говорил?

Она вырвалась.

– Что вы себе позволяете?! Такое горе!... А вы только о себе! Вы конченный эгоист!...

– Пожалуйста, не надо истерик. – оборвал он. – Я тоже скорблю. В детдоме научились плакать без слез. Слезы его оскорбляют.

При жизни Сударева они виделись только однажды, и то случайно, на вокзале, поэтому разговаривать следовало, как малознакомым людям. Горестный час у тела дорогого человека их не должен был сблизать, поскольку Аркаша с некоторых пор был подчеркнута грубоват в отношениях с женщинами, особенно, с чужими женами, которые ему нравились по определению. На вокзале Анна испытывала период счастья, поэтому походила на крупную породистую, но хищную кошку и понравилась ему с первого взгляда. Овладеть женой профессора стал бы высшим пилотажем, но Аркаша пытался лечить эту старую болячку. Клептомания довлела над ним всю жизнь: официально он женился дважды, и каждый раз крал замужних женщин у своих приятелей. Неожиданно для себя он превращался в змея-искусителя – внешность позволяла, проявлял блистающий талант оболстителя, ухаживал красиво, тонко, изящно и уводил жену. Редкая женщина в силах была устоять, когда известный писатель становился на колени, целовал край платья и не говорил – пел такие слова, что голова кругом. Многие соглашались только на любовные свидания в съемных квартирах, в машине, в детской комнате на вечеринке у приятеля и в запущенных уголках парков. И это была не просто блажь или хулиганское увлечение; чужие жены ему всегда казались прекрасней, чем свободные женщины, поскольку на них уже лежала печать любви, семейного тепла, заботы и ласки. Автор жесткой, воинской прозы вкупе с женой приятеля воровал и это чужое чувство, раз и навсегда испытал потрясающий вкус краденной любви, когда есть чувство опасности, риска и наркотический адреналин.

– Вы красите волосы хной? – спросил тогда он на вокзале. – Поэтому они огненные?

– Я ни чем не крашу волосы. – был ответ. – Я огненная от природы.

– Зачем вы отрезали косу?

– У меня никогда не было косы.

И это были единственные слова, сказанные друг другу.

Однажды Аркаша пришел на кафедру и признался критику в этом своем грехе, обсудил с ним замысел нового романа о сладости и горечи похищенной, порочной любви. Сблизиться думал таким образом, войти в доверие к наставнику, но сам тешил мысль совершенно иную, поскольку огненная Анна воспалила воровское сознание, как горячая, породистая кобылица взбудораживает конокрада. Профессору тема понравилась, благословил, обещал поддержку, и даже неожиданно признался, что сам хочет написать роман о любви, о природе этого потрясающего чувства.

В общем, поговорили душевно, как в былые времена, однако Сударев приближать бывшего подопечного не стал, домой не пригласил, возможно, потому, что почуял подвох. И написать новый роман Аркаша тоже не успел, помешали обстоятельства. Дело в том, что недавний второй, воровской брак оказался трагичным, как глава из ненаписанного романа: через полгода совместной жизни с Аркашей его похищенная избранница выбросилась из окна девятиэтажки. И оставила записку, что не может разорваться между двумя мужчинами, ибо все время в новом замужестве встречалась и отдавалась первому мужу. Тот требовал близости, а она в силу привычки не могла устоять.

С тех пор он не смотрел ни на свободных, ни на замужних, превратившись в женоненавистника. Анна об этом знала из рассказов Сударева, и еще знала, что отношения у них сложные, даже критичные, однако приезд друга профессора слегка приподнял дух, по крайней мере, теперь стало не так страшно и одиноко возле мертвеца.

Их единственную встречу на вокзале она запомнила, Аркадий Дмитриевич тогда еще не принимал обета безбрачия и своих чувств к женщинам не скрывал, не стесняясь даже присутствия мужей. Он много раз проверял, что за легкий, безобидный флирт в морду сразу не бьют, принимают за характерность и причуды известного писателя и снисходительно прощают. Еще он знал, что игривое выражение чувств, осторожные намеки оставляют следы в душе и памяти женщины более глубокие, чем слова любви и клятвы.

Анну он демонстративно будто бы сразу не узнал, и это ее успокоило, хотя она с порога ощутила навязчивый и приятный запах охотника. И чтобы перебить его, погружала гостя в эзотерический туман.

– Он теплый!... Вот потрогайте ноги. А говорят, они остывают в первую очередь.

Сударев тоже помнил встречу на вокзале, но восхитился от ее веры и верности, и если бы поднималась рука, погладил бы ее умную головку.

Приютный однокашник пощупал голые ступни покойного, в том числе и раненную, затем свои, но ничего не сказал, поскольку они оказались комнатной температуры и точно такие же, как у самого. Анна не сдавалась.

– И еще!... Если долго смотреть на закрытые веки, видно как движутся глазные яблоки! Поглядите сами! Он слушает старушку, ее голос...

– Что это значит? – серьезно спросил Аркаша.

– Душа находится в теле. Он в состоянии сомати!

Боевой однополчанин повинился и минуту смотрел в глаза покойному. Затем встряхнулся, отошел в дальний угол и уже оттуда заговорил совершенно другим, жестким, как проза, голосом – надо было спустить ее на землю.

– Не обольщайся, девочка. Нет такого состояния. Есть живые и мертвые. Спроси вон у бабки – скажет. Если при церкви служит, повидала тех и других.

Сам же снова восхитился Анной – до чего же хороша! Скорбь даже украсила ее образ, припущенные веки стали выражением иконописного смирения перед судьбой. И как профессору удавалось находить и брать таких? Аркаша еще помнил бывшую его законную жену Власту, которую видел тоже не долго и так же поразились красоте, не смотря что ей было за сорок.

– Я его никому не отдам! – вдруг клятвенно произнесла Анна. – Если он впал в сомати, пусть будет дома! И зачем я вызвала эту... машину?

- Какую машину?
- Которая возит мертвых в морг...
- Ты уже вызвала? – насторожился Аркаша.
- «Скорая» заставила...

Автор суровой воинской прозы на минуту обмяк, вдруг скосоротился, затряс сжатыми кулаками, не зная куда их деть, потом взял себя в руки, замер и сказал уже твердо.

– Не знаю, есть ли сомати... Не верю! Но вот сны у него бывают богатырские. Помню, однажды пришел из боевого охранения и уснул в палатке. А тут начался минометный обстрел, про Сударева забыли. Сами по щелям расползлись, как тараканы. Потом схватились, прибегаем, палатка в клочья, коврики и матрацы будто топором порублены. Кругом вата тлеет... Сударев даже не проснулся! Тогда и кликуху ему сподобили – Бессмертный. А он взял вот и сыграл в ящик...

Профессор рассмеялся бы, коли мог. Не смотря на бравую внешность, Аркаша заметно старел, в последние годы, если вспоминал Афган, свои подвиги и заслуги. Даже юбилейные значки и медали носил! И сейчас позванивал ими, нацепленными кривовато на кожаный пиджак. Только вот полученного недавно боевого ордена не было, наверное, постеснялся надеть.

Анна выслушала его с замиранием сердца и голос ее затрепетал.

– Да, да! Он так спал! Однажды даже на работе... Я пугалась, думала, без сознания!...

– Даже знаю, что он в это время делает. – уверенно заявил женоненавистник.

– Что?... Только не говорите дурного!

– Мечтает. Он из породы неизлечимых мечтателей! Скорее всего, это шиза, такое состояние психики.

– Как вы можете? – слабо возмутилась Анна.

– Могу. – грубо сказал Аркаша. – Я все могу говорить возле тела боевого друга. В детдоме он мне был как отец. Это вдове положено или ничего, или хорошо.

Слово «вдова» ее сильно ранило, а больше склонило к терпеливости, подломившей голос.

– Но о чем можно мечтать, чтобы терять ощущение реальности? Это же глубокая медитация. Он был далек от эзотерики, самого слова терпеть не мог. Но читал какие-то лекции для военных, секретные. О природе воображения... Вот о чем он сейчас мечтает?

Аркаша склонился к Судареву и посмотрел в закрытые веки.

– О чем?... Ты не обидишься, если скажу?

Спрашивал будто бы у покойного, однако отозвалась Анна.

– Нет, я привыкла к его образу существования. И принимала все, а он был открытым человеком.

– Он мечтает о женщинах. Ты знаешь, что он собирался писать роман о любви? Причем, не об идеальной – о всяческом проявлении чувств между мужчиной и женщиной. В том числе, и о порочной любви. А он знал материал, купался в нем, поскольку был великий распутник!

– Не смейте так о нем! – эмоций у Анны хватило лишь на всплеск.

Аркаша даже не дрогнул.

– Тут смей, не смей... Но факт, бабник был могучий! Он даже говорил, если вызвать дух всех возлюбленных и окружить себя им, как обережным кругом, то можно остановить смерть. Мол, женщины таким образом хранят мужчин. Но только те, что были с ним... В общем, в сексуальной связи. И я уверен, сейчас лежит и думает о них. Роман сочиняет!

– Да, он говорил нечто подобное. – растерзанно вымолвила аспирантка. – Будто в воображении можно оживить память о прошлом и послать сигнал. Открывается телепатическая связь.

– Наивная простота! – с усмешкой воскликнул Аркаша. – Господи, чем у нынешних аспирантов забиты мозги?... Связь есть, только другая. Вот почему его так любили женщины? Зна-

ешь, сколько их было у профессора? Если выстроить в круги, будет как у Юпитера. Ему никогда не умереть! Если все соберутся и отдадут ему по капле чувств, он восстанет из пепла.

Умышленно дразнил убитую горем Анну, подлый ворюга! Двигалась бы нога – пинка дал...

– Я все ему прощаю! – чуть поторопилась Анна. – Мы так условились. Разве можно осуждать прошлое? Если человека любят, это же прекрасно.

И схлопотала мысленные аплодисменты Сударева, который любил хлопать в ладоши по каждому, даже малозначительному поводу, объясняя, что таким образом сотрясает пространство, чтобы и боги на небесах услышали.

– Это ваше дело. – откликнулся Аркаша. – Но я бы советовал подумать о своей будущей судьбе. Как и с кем проживать твои прекрасные юные годы? Без профессорской благодетельной руки?

Она понимала намеки, но уходила от ответа, пряталась за эзотерическую глупость.

– Он будет жить. Состояние сомати не вечно. Вам не кажется, на его лице застыл вопрос... Что-то хотел спросить в последний миг? О чем?

– Не кажется.

– А я вижу вопрос...

Судареву хотелось подтолкнуть ее к размышлению, и тогда бы она прочитала этот вопрос – где сейчас учительский домик? Но Анне помешал Аркаша. Он потерял интерес к женской теме и переключился на другую, личную.

– Странное ощущение... Я всю жизнь его боялся. Как отцов бояться... И вот впервые нет этого страха. Можно говорить все, что думаешь.

– Это вы о чем? – встрепенулась Анна.

– О свободе слова. – пробурчал он и замолк.

Аспирантка заботливо поправила подушку под головой покойного, и Сударев в отраженных мыслях страстно схватил ее за запястье. Было чувство, что ощутил ее тепло, и Анна тоже почувствовала прикосновение, с испугом отдернула руку. Несколько минут они стояли возле Сударева молча и прислушивались к бесконечному, однообразному и при этом неожиданно цветистому говорку старушки. Улавливался ритм и какой-то размашистый, долгий библейский размер, и это хотелось слушать бесконечно, даже не понимая слов. На улице почти бесконечно скулила собака, а тут и она замолчала. Крупная, рыжая овчарка прибилась совсем не давно, и хотя профессор никогда не держал псов, эту бродячую суку пожалел и оставил, соорудив из ящиков будку. Судя по отвисшему брюху, она вот-вот должна была оценить, а на дворе стояла слякотная холодная осень.

– Нет, он жив. – повторила Анна. – Слышите, собака умолкла? А сначала завывала.

– Выть надоело. – проворчал Аркаша, не желая разговаривать.

Аспирантка не унималась.

– Как вы думаете, он нас слышит? В таком состоянии?

– Вряд ли... Нет, исключено!

Судареву хотелось расхохотаться в полный голос, ибо он слышал все: как во Внуково на стоянку зарулил самолет, на борту которого прилетела сестрица Лида, а на Ярославском вокзале к перрону подчалил фирменный поезд из Вологды. Там, в купе седьмого вагона его первая жена, Наталья, проспала и теперь натягивает теплые осенние сапоги, одновременной пытаясь разбудить взрослого сына Павла.

– Люди, вошедшие в сомати слышат оба мира сразу. – как-то по-школьному пояснила Анна, будто зная, что слышит и чувствует Сударев. – И с обеими ведут диалог. Он и нам что-то говорит, только мы не понимаем.

Аркаша тоже чуть не рассмеялся над этой явной глупостью, но в последний миг спохватился, что находится рядом с покойным другом и решил подыграть.

– Это можно проверить.

– А как? Вместо молитв почитать мантры?

– Оставь нас наедине. – потребовал Аркаша то, чего давно хотел. – И бабулю с собой заberi.

Одно время Анна работала секретарем у Сударева, когда тот возглавлял факультет, и привыкла охранять доступ к шефу. Потом он взял ее в аспирантуру, сделался научным руководителем, а заодно и гражданским мужем, но прежнее ревностное отношение перекочевало в их семейную жизнь, только многожды усиленное. Еще немного, и скромная поэтесса, выпускница литературного сделала бы полновластной хозяйкой личности Сударева. Аркаша об этом догадывался и чуял назревающий протест.

– Могу я остаться возле тела своего наставника? – с упреждением возмутился он, – Хотя бы на полчаса?

– Можете остаться, но только на полчаса. – отчеканила Анна. – Скоро из морга приедут, торопитесь. И бабушка пусть сидит и читает. А я тоже хотела бы побыть с ним наедине.

– Зачем? Ты и так побыва с ним, с живым.

– Не задавайте глупых вопросов! Если он мертв, то я оставлю вас обоих, навсегда. Мы так условились. Мне ничего было не нужно от профессора. Кроме искреннего желания ему служить.

– Служить? – зло изумился Аркаша. – Разве так бывает? Чтоб бабы служили творческим мужьям? А не висли у них на штанинах, как шавки?

Она вышла, не ответив и не затворив двери.

4

Аркаша подошел поближе к покойному, унял трясучку рук, спрятав их в карманы брюк, но спохватился, что стоять так возле мертвого не хорошо – завел их за спину и крепко сцепил пальцы. Он давно привык к роли скандального писателя и всегда щепетильно заботился о своем внешнем виде и положении, контролируя себя, как стоит, куда смотрит и гордо ли выглядит, чтобы не давать врагам повода для насмешек. Особо он относился к речам, которые всегда говорил складно, подбирая точные слова, поэтому его часто приглашали сниматься в передачах на телевидении. Но тут на него напало косноязычие.

– Алексей, я пришел, чтобы повиниться. – будто живому сказал он и покосился на старушку. – То есть, покаяться... Думал, попаду на свадьбу, а оказалось... Вчера письмо пришло, почта сам знаешь... А мне же еще ехать на поезде. Я ведь так в приюте и живу пока. Там сейчас женский монастырь, но для меня – детдом... В общем-то давно хотел, собирался сам придти. Но ты позвал на свадьбу!... Знаю, что от меня ждешь. Пулеметную ленту я украл, Алексеич. На двести пятьдесят патронов. Признаюсь и каюсь. Прости меня, отец родной... Ну, заело меня!

Сударев все это слышал, но не прямой голос – только его эхо, как в лесу или горах, где оно звучит, повторяя все слова. И в отраженной мысли, словно от камня, брошенного в воду, расплылся волнами беззвучный вопрос:

– Лучше скажи, учительский домик снесли? Или цел?

Аркаша что-то услышал, только решил, это ему чудится и он сам задает вопросы.

– Зачем украл?... Ты же помнишь, когда снайпера убило, я винтовку его взял. Она пустая, а пулеметные патроны как раз подходят... Хотелось погеройствовать. Не всю же войну раненых таскать. Мы же пацанами были, Алексеич! А ты всегда шел вперед, всегда первый! Вот и заело! И меня все время подавлял, гнобил... Мне это надоело! Еще в приюте, между прочим... Нет, я понимаю, двести пятьдесят патронов изменили бы расклад сил. Ты бы смог отбиться от духов... И что потом? В плен бы не попал? Орден получил?... Да вся бы жизнь твоя пошла по иному руслу! И не случилось бы того, что случилось.

– Наплевать на патроны. – будто бы сказал Сударев. – Фаталист хренов... Ты мне про домик скажи!

У Аркаши диалога не получалось, хотя он все-таки что-то улавливал.

– А патроны эти пропали. Мне разу пальнуть не удалось, драпали без остановок. Потом винтовку отняли... А я добился, пошел на курсы взрывотехники и минного дела. Назло тебе! ... На отлично закончил, попросился в диверсионно-разведывательную группу – не взяли! Еще и по башке командиру настучали, что учиться отправил. Снова в санинструкторы засунули... Так было обидно!

Сударев слушал его, глядя на зеркальные свои мысли, и ничему не удивлялся, ибо давно знал и не сомневался, что ленту стырил Аркашка. Скатал и засунул в свой вещмешок, и ведь еще обниматься полез, будто прощаться на всякий случай, двуликий! И что в снайперы, в диверсанты его не взяли по одной причине – от волнения лихоманка бьет, руки трясутся. А он это скрывает, потому как годен к воинской службе только в мирное время, и то ограничено, однако не может отстать от своего приютского наставника. Сударев знал про это, ценил и в душе простил подлянку с патронами, хотя долго еще злился, заново переживая события, приключившиеся с ним в ущелье. Он радовался и утешался тем, что духи не опознали в нем пулеметчика, уложившего десятка три – четыре их товарищей. И не отрубили голову: взвод попал в засаду и уходил с потерями, поэтому тяжелых выносили, легкие шли сами, а убитых и с ранами средней тяжести попрятали в горах. Сударева приняли за одного из них и утащили с собой в надежде обменять или получить выкуп, если не сдохнет. Можно сказать, ему повезло, никто из захваченных в плен, раненных, не выдал пулеметчика, а через два месяца его просто

вывезли на дорогу, где проходила колонна войск, посадили на камень, сердобольно оставив кувшин воды и лепешку. Сударев тогда ни на минуту не сомневался, что останется жив и ногу не отнимут, ибо верил в свое бессмертие. В госпитале ему отняли лишь загнившие пальцы и куски мышц. От прошлого разве что легкая хромота осталась...

– Меня эта лента всю жизнь душит. – признался Аркаша, забыв о трясущихся руках. – Как веревка! Знал бы, так ни в жизнь... И самое главное, не попользовался! Выбросил патроны в речку... Я ведь завидовал, когда ты прикрывать остался. Думал, живым выйдешь, героя дадут. Нет, так посмертно... Ну, полный идиот был, Алексей, прости. Потом мне даже обидно стало, когда тебе из-за плена ничего не дали. Хоть бы «За отвагу» повесили... А потом думаю, может, спас тебя? Не возьми ленту, ты бы еще там держался, до последнего патрона. А духи захватили бы с пулеметом – сразу кончили. Ты об этом думал?

Его речь уже была знакомой, обкатанной, психологически выстроенной и литературно обработанной. Дело в том, что кража патронов не только мучила Аркашку, но и давала повод плодотворно работать. Когда Сударев вступился за сокашника с его романом об Афгане, молодой писатель, оказывается, страшно перепугался и потому не воспользовался защитой приютского наставника и известного уже критика, не пошел даже на встречу, опасаясь разоблачения. Переживал, метался, уходил в запои, пока критик прямо не напомнил ему о пулеметной ленте.

Аркашка тогда прибежал и отрекся, клятвенно уверяя, что не брал патронов, и скоро в свое оправдание, в попытке осмыслить произошедшее, написал очень не плохую повесть, которая так и называлась – «Лента», где сюжет примерно напоминал жизненные события с точностью наоборот. Аркашкин прообраз был вторым номером пулеметчика и с приключениями нес ему на позицию в ущелье последнюю ленту патронов. Но опоздал, духи захватили первого номера в плен. Разрешение ситуации в повести тоже было иным: старые боевые друзья стали врагами и оба погибли, оказавшись в разных бандитских группировках. Созревшего писателя за эту острую психологическую прозу обласкали – время наступило другое, бандитское, книгу издали большим тиражом, перевели на французский. Но Сударев уловил намек в повести, адресованный наставнику: Аркаша склонял его к примирению и прощению без наказания.

А профессор еще с приютских времен натаскивал подопечного прежде всего признать вину, проговорить ее вслух, озвучить, затвердить мотивы греха и уже потом искупать его трудом либо наказанием. Принципы исправления пороков в детдоме были по традиции монастырскими, не зря воспитанники жили в кельях. Кроме того, в повести явно звучала заинтересованность восходящей звезды, требовалась родительская поддержка именитого критика и реальная подмога на литературном поприще, Сударев входил в комиссию по присуждению госпремий и мог подтолкнуть Аркашу на высокий небосклон.

И подтолкнул бы, но принципиально ждал покаяния, а тем часом неумный скандалист выбрал другое, модное направление – кинулся запоздало обвинять Советскую власть, партию и режим, которые уже едва держались. Столь неожиданной смене творческой ориентации помогла первая женитьба на отбитой у приятеля, жене со звучным именем Виолетта, которая раскопала родословную Аркаши. И выяснилось, что он по национальности еврей, причем, из уважаемых, авторитетных левитов. И скоро прошел слух, что Аркаша собирается выехать на жительство в Израиль, где у него и Виолетты много богатых родственников, где ценят и чтут его прозу.

С Сударевым прекратилась всякая связь, они не встречались года два, пока Аркаша обживал семейное положение, новое свое национальное состояние и совершенствовал старое поле деятельности. И тут неожиданно явился перевоплощенный, почти не узнаваемый, в черной шляпе, с отросшими пейсами и даже заговорил с характерной картавостью. Сослуживец с обликом нордической расы истинного арийца принял иудаизм, совершил обряд обрезания и изменился даже по характеру, стал нудным, навязчивым и мелочным, жалуясь, что его сейчас

ободрали в такси на целых семь рублей и сорок копеек. В кармане у него уже лежали билеты на самолет, однако уехать просто так он не мог и пришел попрощаться с детдомовским одноклассником. А на самом деле по условиям въезда в Землю Обетованную склонить профессора к эмиграции в Израиль с выбором способа переселения. Профессору нужно было поддержать в прессе требование хасидов о выдачи библиотеки Шнеерсона из Ленинки или жениться на израильянке, женщине средних лет, но хорошо сохранившейся. И показал фотографию, где была изображена стареющая дама, похожая на Эдит Пиаф.

В тот период Сударев был связан браком со строгой Властой, и про эмиграцию слышать не захотел, тем паче, жениться на старухе-иностранке. С тех пор Аркаша исчез, и казалось, теперь навсегда, как блудный сын, ушедший на чужбину без покаяния, и оставил непримиримое чувство брошенного отца. Сударев прислушивался к себе, и живой, не мог исправить ни одной мысли, чтобы стряхнуть с себя жалость к детдомовскому косороту и разочарование за потраченные чувства и силы, которых потом не достало родным детям.

Аркаша исчез и возродился уже в новой, самой скандальной ипостаси. Оказывается, в Израиле он не изменил своим страстям, и нарушая строгие законы, сотворил невообразимое для Востока – начал тайно встречаться с палестинкой, замужней женщиной, женой своего работодателя! В Земле обетованной никаких богатых родственников быть не могло, а его писательский талант оказался невостребованным. Виолетта устроилась нянькой, хотя у нее состоятельной родни тут было много; он же после долгих мытарств кое-как нашел работу – орошать зеленые насаждения. Аркаша следил за капельным поливом деревьев и попутно, из-за змейской тяги воровать и возникшего уже здесь, мстительного чувства всему миру, совратил палестинку, третью жену хозяина. Особенно даже не ухаживал, сама захотела и отдалась, причем, по-восточному покорно и молча. Это потом вошла во вкус, ожила, раскрепостилась и стала бурно выражать эмоции, рассказывая, как трудно жить в гареме. Их любовь была короткой и страстной, под тропическими пальмами, под крик павлинов, скрывающих женские стоны, и обожгла, как южное солнце. У него были мысли выкрасть ее и вернуться в Россию, но в Израиле клеptomанию лечили жестоко.

Аркашу наконец-то поймали с поличным и зарезали бы, выбросив труп за территорию парка бродячим собакам, но от мгновенной смерти спасло обрезание – выдал себя за мусульманина. А потом согласился на сотрудничество с палестинцами и в результате связался с арабскими террористами, которым передал секретные технологии взрывотехники и минирования. По собственному свидетельству впоследствии ему грозила участь смертника-шахида, как и его возлюбленной палестинке, однако он сам сдался израильским спецслужбам, и тут выяснилось, что иудаизма он не принимал, да и не мог принять, будучи не евреем по крови. И доказательные документы – старые фотографии, выписки из книг Актов, в общем, вся родословная – фикция! В Москве целая подпольная фирма работала, выдавая подобную продукцию, даже имитировала обрезание.

Правда, израильские специалисты с неподдельным удивлением отмечали, что Ерофеич обладает многими еврейскими качествами, например, способностью к выживанию в любых условиях, умению держать удары судьбы и прикидываться несчастным. Они просто не знали, что такое приютская жизнь в Советском Союзе, где воспитывается принцип настоящего характера будущего бойца мировой революции, заложенный еще Троцким, Свердловым и Дзержинским. Аркаша отсидел в тюрьме год, хотя дали больше, и был депортирован на родину – учли его писательский дар и известность.

Вернувшись в Россию на переломе эпох и государственного раздора, Аркаша поселился на квартире у своего приятеля-бизнесмена, поскольку свое жилье промотал. Целый год он жил воспоминаниями, ходил из дома в дом, и все рассказы начинались со слов: «Вот когда я был евреем...» или «Вот когда я сидел в израильской тюрьме...». В общем, зарабатывал очки и скоро очаровал, обольстил и сделал любовницей жену приятеля, у которого жил, сорокалетнюю

женщину, неприступную, зажатую не хуже восточной, и целиком погруженную в политику. И разбудил вулкан, сделал ее счастливой и сам испытывал то же чувство, одновременно переживая тайную горечь. Воровская любовь рождалась у Аркаши вместе с состоянием крайней опасности, под действием постоянной угрозы разоблачения. При других обстоятельствах он взирал на женщин с пустой душой, становился ниже ростом, косоротился и дрожал от лихоманки.

Пытаясь отвадить от воровства, Сударев еще в детдоме вбивал в него простую истину: краденое никогда не приносило пользы, всегда шло прахом по принципу, как пришло, так и ушло. Пылкая страсть к чужой жене закончилась тем, что он сам спалился на этом огне: возлюбленная оказалась не только щедрой, но и жутко ревнивой. Под ее влиянием Аркаша увлекся патриотическими идеями, отрицал всякий либерализм, вместе с тайной своей любовницей выступал на митингах, ночами писал для нее речи и рвал рубаху в теледискуссиях. Окончательно раздухарившись, потеряв осторожность и чувство меры, он тайно от всех, по-воровски написал роман «Земля Обетованная», изложив там все свои похождения, в том числе и о сладкой любви героя с замужней арабской женщиной. Расправа возлюбленной оказалась короткой и жесткой: она прочла рукопись, сожгла ее и выставила автора из квартиры. Однако того не знала, что рукописи не горят: у Аркаши оказалось несколько копий, поэтому роман был опубликован.

Скоро против писателя возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни, а чеченцы грозились просто зарезать за оскорбление мусульманских нравов и чувств – не успели. Аркашу арестовали, упрятали сначала в следственный изолятор, потом на три года в лагерь. Тут бывший подопечный вспомнил своего наставника, написал покаянное письмо, однако так и не признался, что стащил ленту патронов. Сударев ездил к нему на свидание, но откровенного разговора не получилось, Аркаша тогда не раскаялся, просил похлопотать, чтоб скостили срок, жаловался, что в лагере нельзя работать творчески и оживил несколько притупленное за годы, чувство отеческой жалости.

После освобождения выяснилось, что времени он зря не терял и вынес из заключения новый роман – лагерная тема еще была востребована. А пока отбывал срок, переписывался со многими своими читателями и по приглашению поселился у одного из них в загородном доме, где были созданы все условия для работы. Доверчивый читатель-лох трижды в неделю посылал туда жену, чтобы готовила пищу! Аркаша, видимо, затворился, как монах, поскольку не мелькал на тусовках и экранах, не будоражил народ на площадях и про скандального автора скоро забыли бы. В литературу ринулся поток домохозяек и пенсионерок, книжный рынок захватил детективный жанр, женщинам не давала покоя слава Агаты Кристи. Но тут началась вторая чеченская компания, и новое дыхание обрел роман «Афганский прыжок», в том числе и злополучная «Лента». В его прозу наконец-то вчитались, оценили, присудив госпремию, да еще наградили боевым орденом. А на Мосфильме и первом канале запустили сразу два грандиозных проекта – эпопею по роману и сериал по повести. Рекламные ролики крутили по телевизору целыми днями, Аркашу таскали с передачи на передачу, интересовались мнением по любому сколь-нибудь значимому вопросу. И наконец, сделали ведущим военно-политической рубрики на канале.

Сударев не прикладывал своей критической руки, все произошло само собой, и у Аркаши появился шанс на пике славы придти и покаяться – не упал бы с Олимпа, но грех с души снял. Не пришел, возможно, потому, что у подопечного тут же возникли завистники, в прессе появилась статья с утверждением, что его премиальный роман на самом деле написан другим человеком, даже имя автора называли, офицера-политработника. Будто, Аркаша нашел его рукопись и присвоил! Сударев оценил это по-своему: к однокашнику пришла настоящая слава, ибо авторство завистники оспаривают всегда, если видят литературный шедевр. Между тем эти клеветники обнаглели и явились к профессору с просьбой сделать литературоведческий анализ, дабы доказать воровство или на худой случай, плагиат. И совали какие-то ископае-

мые рукописи в залежалых общих тетрадах – безымянные и простенькие воспоминания об афганской войне. Сударев даже вникать не стал, тут же выдал свое заключение, посоветовал не унижать лауреата подозрениями, однако пожара не погасил и скандал лишь разрастался. Но достигал обратного эффекта: Ерофеич становился интересным для публики.

И тут ударил очередной скандал: оказалось, Аркаша вновь принялся за свое. Он тихой сапой увел у читателя молодую жену-кормилицу, зарегистрировал брак и стал жить с ней в загородном доме, любезно представленном обворованным поклонником. Новое счастье лауреата длилось полгода, похищенная жена скоро насытилась краденой любовью, мечась между двух мужчин, и улетела сразу от обоих – выбросилась из окна. Аркаша уехал в приют, где теперь располагался женский монастырь, с разрешения настоятельницы, поселился во флигеле за каменной стеной, подальше от инокинь и послушниц и поклялся себе, что никогда более не прикоснется к чужому. В том числе, и к женщинам, носительницам зла и разочарований.

Полчаса на исповедь Аркаше не хватило: мышление романиста требовало большой формы, к тому же, привычка все сказанное выстраивать и мотивировать, отвлекало его от главного покаянного направления. Тем паче, каяться над телом, обращаться к человеку, лежащему ни живым, ни мертвым, было непривычно, и он или расслаблялся, говоря искренне, или автоматически включал внутреннего цензора, поселившегося в нем после неудачи с романом «Земля Обетованная». Ему начинало казаться, что бабка успевает бормотать молитвы и одновременно прислушивается, к тому, в чем кается Аркаша. И еще его раздражал запах восковой свечи, напоминающий палестинские благовония и суровый период жизни в Земле обетованной.

Сударев давно убедился в закономерности, существующей у литераторов: кто хорошо говорит – плохо пишет и наоборот. Приютский подопечный страдал от косноязычия, особенно когда волновался, по детской привычке начинал грызть ногти и драть заусенцы, отчего выступала кровь. Раньше наставник за это бил по рукам, поскольку особым педагогическим талантом не отличался ни в отроческие годы, не сейчас, испытывая желание дать ему подзатыльник. И однажды не сдержался, врезал, когда Аркаша стал вещать об Афганском романе, принесшем ему славу. Исповедник дернул головой, будто в самом деле получил по шее и спрятал руки за спину. В это время вошла Анна, встав у порога, как надзиратель.

– Время вышло, Аркадий Дмитрич.

Подопечный пощупал свой затылок с заплетенной викингской косичкой и вдруг раздул ноздри.

– Я не позволю себя ограничивать! – грозно и неуклюже прорычал он. – Когда стою возле покойного друга!... Между прочим, я не закончил! Я не все сказал!

– А что заканчивать? – дерзко проговорила аспирантка. – И так все ясно: вы украли патроны! И Алексей Алексеевич чуть не погиб. Потом еще и повесть написали, чтоб оправдаться!

Она явно стояла где-то за дверью и подслушивала! И сейчас, посути, раздела догола, превратив в иконописного кающегося грешника, каковым Аркаша себя увидел.

– Это не твое дело! Как ты разговариваешь?

– Имею право! – огрызнулась Анна. – Я жена!

– Не жена, а вдова. – поправил Аркаша. – И между прочим, никаких прав не имеешь. Потому что не законная. И вообще, выйди и не подслушивай!

Анна встряхнулась и гневно ринулась к покойному.

– Да как вы можете!... Я тоже хочу побыть рядом с ним! Мне тоже надо сказать!... Пока здесь никого нет...

Если бы Сударев мог двигаться, то приобнял бы ее и, не стесняясь Аркаши, погладил по ягодицам, как это делал всегда, если был доволен поведением аспирантки. И Анна бы ощутила силу его покровительства. Не смотря на это, она бы потом все равно ушла, исполняя клятву

не претендовать на роль вдовы профессора и не получать с этого никаких дивидендов. Сударев погладил ее, чтобы поощрить противостояние с Аркашей, зная волшебное качество этой интимной ласки. Все женщины мира жутко стеснялись, но жаждали и ждали таких прикосновений, даже от чужих мужчин. Это было непристойное и самое ожидаемое желание, они могли возмущаться, привлекать к суду, давать пощечины, убегать, но не зримый след мужской руки уносили с собой и долго его помнили, испытывая терпкое, волнующее чувство. И дело тут было не в эрогенной зоне, к сексу не имело отношения: Сударев был уверен, что после зрения, слуха и обоняния, осязательные свойства женских ягодиц стоят на втором месте. А возможно, и на первом, поскольку все иные органы чувств без работы сознания не действовали, когда как выпуклые части нижней половины тела имели свои глаза и уши, связанные напрямую с детородными органами – самыми таинственными, божественными составляющими женского существа. Поэтому старые бабки-повитухи советовали родителям чаще целовать маленьких девочек в попу и никогда не делать этого с мальчиками.

Женщин следовало гладить по волосам и ягодицам, что мужчины интуитивно и совершали. Сударев не поднимал вытянутой вдоль тела, руки, однако Анна ощутила его прикосновение, как Аркаша подзатыльник, и инстинктивно подтянула попу. Но гневная, не обратила на это внимания. К тому же, чуткий к женским эмоциональным переходам, обольститель чужих жен стал осторожнее в действиях и выражениях.

– Ну, хорошо. – вдруг согласился он, глядя на нее с интересом. – Все-таки ты другая женщина. Кажется, узнаю тебя, Марина Леонидовна. Или лучше называть Морено?

– Какая Морено? Вы с ума сошли? Бредите?

– Что же вы орете над усопшим-то? – оторвалась от чтения и сделала замечание старушка. – А ну как пробудите до срока? Он же ведь и так застрял, горемычный. Ни туда, ни сюда не может. А вы балаган тут развели! Отчитывать его мешаете...

Аркаша вскинул руки, заговорил шепотом:

– Все, беру слова... Я пока выкурю трубку, а ты посиди возле тела. Не будем ссориться рядом с усопшим.

Его податливость подломило женское сопротивление.

5

Первое усыновление Сударева было коротким, трехмесячным, но присвоило ему фамилию на всю жизнь, наградило сестрицей и первым опытом общения с женской половиной человечества. Все это он тогда и отнес к проявлению семейного счастья, ибо сам получил наставницу Лиду, и, доверившись ей всецело, принялся послушно изучать, как живут обыкновенные люди.

Жизнь свою он начинал в Доме ребенка, оставленный малолетней матерью – некоей пятнадцатилетней девочкой, забеременевшей от такого же подростка. Имена настоящих родителей были в свое время так скрыты, что Сударев не смог разыскать потом, привлекая самые влиятельные службы. В шутку он называл себя ребенком Ромео и Джульетты, то есть дитем чисто литературным, и всерьез думал, что родители-подростки, наверное, страстно любили друг друга. Но законы и нравы не позволили быть вместе, их разлучили, а ребенка отняли, лишили родовой фамилии и с младенчества приготовили на усыновление. Подобную историю Сударев собирался изложить в своем романе о любви. Но чтобы не повторять классиков, мыслил перенести все это на индийскую почву, в стены храма Каджурахо, где существовал обряд жертвоприношения богине любви. Это когда новорожденных мальчика и девочку содержали при разных монастырях и с раннего детства прививали любовь друг к другу. К тринадцати годам она достигала такой силы, что когда жертвенных юношу и девушку вводили под храмовые своды, они умирали в объятьях от переизбытка чувств в момент оргазма. И вот Сударев хотел на основе этой легенды создать в романе свою, где влюбленная пара не умирает от соития, а только теряет сознание и под покровом ночи бежит из храма. В последствии у жертвенной девы рождается дитя любви, которое, собственно и становится героем романа.

Сударев считал себя таковым, поскольку даже в эгоистичный детский период любил всех окружающих детей и взрослых. И первую злость и обиду начал испытывать с отрочеством, когда начались мальчишеские драки. Он помнил себя, месяцев с девяти, со времени, когда еще ходить не умел и ползал в вольере, поскольку запомнил его металлическую сетку, оплетенную нитками. Нитки эти изнашивались и хорошо тянулись, доставляя удовольствие детям – они казались вкусными. Когда Сударев встал на ноги, вольер перетянули веревочной сеткой, и поэтому можно было отбивать время осознанной жизни. Память, точнее, запоминание себя в пространстве началось с движения, и чем его было больше, тем ярче становились зрительные картинки, закрепленные в сознании с раннего детства. Запоминался бег по кругу, качели, игра с мячами, куча мала или просто валяние на ковре. До шести лет вопрос, откуда берутся дети на свете, ему в голову не приходил и придти не мог, ибо приютских детей воспитывали в пуританских обычаях, и даже читая сказки вслух, няньки не объясняли, что значит «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь...». Загадок в этой строчке было столько, что она вообще оставалась непонятной, особенно слова сын и дочь, толковались которые нянями, как мальчик и девочка. А их давно уже поделили в разные группы, развели по своим спальням, и даже рядом на горшках посидеть теперь стало нельзя.

В общем, жизнь без семьи рождала одни только вопросы, и мир стал открываться и выстраиваться сразу же, как Сударева усыновили. Это было начало жаркого лета, и Подкидыша поселили в чердачной комнатешке, отдав под неусыпный круглосуточный надзор и покровительство любимой в семье, старшей дочери Лиды. Эта вздорная девчонка слушалась только отца, который детей пальцем не трогал, и обычно наказывала мать. Напротив, глава семейства гордился старшей дочерью, приносил ей подарки, хвалил и позволял шалости. Они часто уединялись и секретничали, Лиду он брал с собой на рыбалку, в лес, катал на мотоцикле, и сестрица говорила, что отец ждал мальчика, но родилась девочка. Потом и ждать перестал, усыновил детдомовского парня.

Эта девочка оказалась с мужским характером, возомнила себя воспитателем и учительницей, изображала маленькую женщину и контролировала каждый шаг Подкидыша, имитируя свою, или вернее, теперь их общую мать. Первым делом она повела подопечного показывать свою любимую школу, сначала классы, потом открытую спортплощадку, где вздумала принять первый экзамен по физкультуре. Сама сестрица была тонкой, длинноногой и спортивной, легко кувыркалась на турнике, прыгала в высоту и особенно любила лазать по шестам и канатам. Еще у нее была такая же подруга, Нина, с которой они делали это наперегонки, а потом спорили, кто первый. И никак не могли поделить заслуги. Дело доходило до драки – таскали друг друга за волосы. Потом плакали и все равно спорили:

– Я первая!

– Нет я!...

В приюте не было такого городка, физкультурой занимались в школе, а дошколята еще играли в песочницах и катались с горок. Поэтому Лида испытала его на всех снарядах и заявила, что теперь будет заниматься с ним каждое утро физподготовкой. А Судареву понравилось лазать по шесту, потому как где-то на середине ноги начинало сводить сладкой судорогой и в спине становилось щекотно. Он не знал, что это, никогда не испытывал подобного и поделился своими впечатлениями с сестрицей. И та шепотом, но с восхищением рассказала, что когда лазает по канату, у нее происходит то же самое, и однажды она чуть не упала. Потому как на миг потеряла сознание. И это секрет! Говорить никому нельзя.

Наставница вся состояла из секретов и объявляла тайной все, что вздумается. Однако Нина услышала, почему-то смутилась и призналась, что ей тоже щекотно. И тут уже не спорили, кто первый почувствовал, почему-то девчонки захихикали и начали шептаться. Тогда они втроем условились молчать, еще по разу забрались по шесту и разошлись по домам. Почему надо было скрывать свои ощущения, Сударев так и не понял, но повиновался старшим девчонкам. По расписанию у него начинались уроки письма и чтения, поэтому все забавы прекращались.

Открытия в мире семьи продолжались круглосуточно. Новообретенные родители и младшие сестры спали внизу, из-за ночной духоты люк не закрывали и Сударев подолгу не мог уснуть, ибо под полом каждый вечер раздавался долгий настораживающий скрип, и, казалось, барак развалится от сотрясения полов и балок. Он привык к каменным монастырским кельям, где от ночной тишины только кровь шаркала в ушах, а тут содрогались фанерные перегородки, вибрировали гибкие половицы и стучали стекла в окнах. С наступлением темноты скрипело и вибрировало не только в квартире, а по обоим этажам барака. Сначала он терпел, ничего не спрашивал, чтоб не унижаться перед девчонкой, однако на третий день спросил, отчего происходит этот зловещий скрип. Привыкшая ко всему Лида уже засыпала, поэтому ответила походя:

– Папа детей строгаёт... Но это секрет!

Тогда он еще не знал, откуда берутся дети, но поверить не мог, что их в самом деле выстрагивают из поленьев, как папа Карло выстрогал Буратино.

– Давай посмотрим? – предложил он.

– Это не интересно, я много раз видела. А ты еще маленький смотреть. Спи давай!

В следующую ночь, дождавшись, когда наставница заснет, Сударев вылез из постели и свесил голову в открытый люк. Он не рассчитывал увидеть верстак, топоры и рубанки, как в приютской столярке, и обнаружил вещи не объяснимые: голый папа лежал на маме и вместе они со страшной силой раскачивали скрипучую железную кровать с сеткой. Выстрагивать детей, должно быть, было очень трудно, хотя ни стружек, ни опилок не сыпалось, и родители дышали тяжело, надсадно, а папа еще и поторапливал, шептал громко:

– Ну давай, давай. Ты шевелись немного. Я уже устал... Ну, ты скоро – нет?

– Не торопись. – отвечала мама. – И не шуми, дети проснутся. Ты как смену отработываешь. Говори мне на ушко что-нибудь.

– Потому что я уже смену отработал. – парировал тот. – Как за растрату отпахал... Ну кричи уже!

Мама пыхтела, задыхалась и сквозь стоны задиристо, даже скандально выговаривала:

– Ну, можно понежней?... Ты как ломом хреначишь... Болит все.

Потом она застонала, верно, от боли и наконец-то строгание закончилось. В чем была суть этого занятия так и осталось тайной.

Сударев вернулся в постель, испытывая странное смущение, подавленность чувств и обиду на свою наставницу: она его обманывала! А обманывать подопечных было ни в коем случае нельзя, в приюте это запрещали, и Сударев никогда так с Аркашей не поступал, на все его почемучки придумывал правильный ответ или спрашивал у воспитателей, чего не знал. Поэтому самому было интересно, отчего идет дождь, почему уютный дворник всегда сердитый, а в компоте плавает бумага. Он считал, что благодаря такому любопытству, он стал профессором, ибо с детства уяснил монастырскую заповедь, повторяемую безбожными воспитателями – не врать! Никому, и особенно детям.

Ведомый такими мыслями, он потом уснул, а на утро, чтобы не обидеть сестрицу резкими монастырскими правилами, сказал дипломатично:

– А почему ты сказала, что детей строгают?

Сестрица хоть и перешла в третий, но уже разбиралась в семейных делах и во многом копировала родителей. Но чтобы не уронить достоинства наставницы, сослалась на свое наблюдение.

– Мама однажды сказала, раз настрогал ребятишек, теперь корми, а не пьянствуй. Это когда он с мужиками загулял.

И тут Сударев блеснул своим монастырским образованием.

– Твой папа неправильно строгает детей. Женщинам надо оставлять самую легкую работу, а он заставляет ее выполнять тяжелую. Еще кричит – давай-давай. И сам еще навалился, давит сверху.

Наверное, Лида не один раз видела это и слышала разговор родителей, должно быть, кое-что уже знала и догадалась, что Подкидыш ночью подслушивал, однако не заострила на этом внимания, как чуткий будущий педагог. Обошлась запретительными мерами, зная возраст подопечного и свое упущение – заснула раньше!

– Ты еще не дорос, чтоб папу учить. – отрезала сестрица. – Он знает, как детей делать. Вырастешь и сам научишься. А пока будешь засыпать, как все дети засыпают.

С этого дня стал ложиться к нему в койку и на ночь читать сказки, рассказывать всякие истории, в том числе, и страшные – про синюю руку, про отрезанную голову пирата, которая залетает в окно, чтобы сожрать тех детей, кто не спит. Это чтобы он не прислушивался к скрипу внизу и не подглядывал за родителями. Для Сударева все эти рассказы вызывали смех, он и не такое слышал – про умервщленных детей монахинь, которые выходят ночью из подполий и ищут своих матерей, про змей, что вползают в рот тому, кто храпит. Однако слушал Лиду и робко, будто невзначай, к ней прижимался, чувствуя тепло, умиротворяющее и потрясающее его бесприютную душу. К тому же на улице начиналась гроза, засверкало, ветер загремел крышей, потом на нее обвалился ледяной град и холод ворвался на чердак. Сестрица прижалась плотнее и укрыла их обоих с головой. В эту минуту не было на свете выше блаженства, испытывать это радостное и трепетное тепло, его никогда и никто не грел своим телом. И не сказки, а этот умиротворяющий поток вызывал блаженство и полусон, в котором хочется быть бесконечно долго.

И одновременно Сударев чувствовал, что сестрице тоже хорошо, возникает телесная, непорочная близость тел. Они оба еще не понимали, что в это время роднились, становились

братом и сестрой, наращивая таким образом сближающие родственные привязанности. А гром между тем колотил по крыше и синий свет молний почти не гас на чердаке. Лида грозы не боялась, наоборот, восторгалась ударами грома, ее рыжая копна волос встала дыбом, и глаза засветились зеленым, как у кошки в темноте. Она все сильнее притискивала к себе Сударева, вселяя неведомое чувство защищенности, покровительства, и он так проникся ее старанием, что непроизвольно заплакал от счастья. Но молча, как и положено приютскому пацану. Лида сначала не заметила этого, потому как в семье было принято реветь в голос и долго, и когда ощутила слезы на его лице, забыла про сказку и принялась вытирать их ладошкой и шептать на ухо утешительные слова, будто общалась с младшими сестренками. А Сударев от ее щеко-чущего шепота и вовсе расслабился, начал всхлипывать, содрогаясь всем телом, и никак этого удержать не мог. Сестрица не подсмеивалась, не задиралась, вздыхая глубоко, по-женски, а потом в ней и вовсе пробудилась мать, наверное, спонтанно, под действием чувств и впервые в жизни.

– Хочешь, титю дам. – шепотом предложила она.

Лида подражала своей матери, не дожидаясь ответа, сжала чуть только оформившуюся грудь и вложила сосок в рот Подкидыша.

Потом Сударев часто вспоминал этот миг, и в разное время, при этом то стыдась его, то наливаясь неким торжеством. Но взрослея, утвердился в мысли, что это был момент, когда он прикоснулся к таинству Вселенной и стал полноценным человеком. Тогда он не просто взял затвердевший сосок сестрицы – впился в него, как голодный младенец, хотя прежде никогда не знал женской груди и не испытывал к ней тяги. И ощутил незнаемый вкус материнского молока! Свершилось невероятное, невозможное с точки зрения физиологии, но Сударев готов был поклясться, что молоко у Лиды в тот миг появилось. Откуда бы он узнал его вкус? Пусть всего малый глоток или вовсе наперсток, но было, потому как через некоторое время, с трудом отняв грудь, они оба увидели белую капельку, словно пот выступившую на посиневшем соске. На улице к тому времени гроза улеглась, тучи укатились, не пролив дождя и теперь вставала заря. Щедрый летний свет вливался на чердак сквозь слуховое окно и все было видно.

Потом Судареву было невыносимо стыдно за эту слабость, даже смелая, властная Лида сильно смутилась от своего поступка, однако старшая, так быстро сладила со своими чувствами. Помогло то, что после сухой грозы в лесу начались пожары, всех взрослых угнали тушить, и Лида осталась за родителей. Целый день она занималась хозяйством, и вечером, когда накормила и усыпила младших, отвела Сударева на чердак и тоже положила спать. Но сама не ушла вниз, чтоб быть поближе к сестрам, а села рядом и взяла его руку.

– Это будет наша тайна. – шепотом произнесла она. – Давай поклянемся, никогда никому не рассказывать, как титю сосал. Ты умеешь хранить тайны?

– Умею. – пролепетал он, будто оживая.

У приютских было принято клясться, взявшись за руки, и они сцепили пальцы и произнесли страшную клятву:

– Кошка сдохла, хвост облез, кто нарушит, тот и съест!

Через день правая грудь, которую сосал Сударев, слегка взбугрилась, выдалась вперед и стала заметно больше, чем другая. Сначала Лида думала, она распухла от усердия Подкидыша, но прошло еще два дня, а сосок продолжал торчать, выпирая сквозь майку – лифчиков тогда дети еще не носили. И сестрица, чтобы скрыть разницу и не вызвать подозрений матери, уже заставила Сударева сосать левую. А он не испытывал прежнего желания, и самое главное, чувств, но связанный клятвой, дохлую кошку есть не захотел, старался вроде бы от души, сосал до боли, однако груди так и остались на всю жизнь разного размера. И это стало одним из их общих предметов для тайного юмора, которых в детстве накопилось порядочно, и которых больше никто не понимал, но веселил брата и сестру при каждой встрече.

Так прошел первый месяц, как Сударев обрел семью и это новое состояние ему нравилось. Он даже перестал вспоминать своего подопечного Аркашу, с утра до вечера изучая открывающийся мир новых человеческих взаимоотношений. Он уже не прислушивался к звукам снизу, где родители строгаи детей – они стали естественными, и если не раздавалось скрипа и вибрации, то и заснуть было трудно, даже под сказки Лиды, которые она сочиняла сама.

Но более всего Сударева привлекали люди, коими был заселен барак, вернее, два, стоящих в ряд. Во всем приюте был один и тот же запах, в какой бы угол ты не пошел: почему-то везде пахло кладбищем, тленом. Возможно, такой аромат источал древний камень, из коего был выстроен монастырь, а в поселке тоже все было старое, но деревянное, живое, все тряслось, двигалось и даже на глазах разрушалось, как водонапорная башня. И строилось новое, красивое, как дом для многодетных семей, куда Сударевы должны были переехать. Вообще в этом леспромхозе было великое множество детей и больших семей, возможно потому, что было из чего строгать детей, бревна валялись повсюду. И люди их охотно строгаи, отчего каждую ночь барак шатался и норовил завалиться. Оказывается. Он был выстроен по технологии, опередившей мировую на полсотни лет: двухэтажный барак был каркасным, быстровозводимым, однако строился с нарушениями, поэтому шатался и отовсюду торчала стекловата. Лида сказала, что в поселке теперь возводят кирпичные дома и будут строить новую школу, поскольку в старой уже давно не хватает места, дети учатся в две смены. А в новой будет бассейн и настоящий спортзал!

В старой тоже был спортгородок на открытом воздухе, где они лазали по шестам и канатам до судорожной щеколки. Вокруг поселка стоял загадочный сосновый лес с грибами, на краю поселка две речки сливались в одну, куда родитель обещал сводить Подкидыша на рыбалку. Еще по улицам ходили лошади с жеребятами, коровы с телятами, стада гусей с гусятами – здесь все тряслось, шаталось, но плодилось с невероятной силой! На станции гудели большие паровозы и тут же вертелись их дети, узкоколеечные паровозы-кукушки, сновали огромные лесовозы и мелкие трактора. Даже настоящий пожар, огонь, выпущенный из печки, бушевал рядом – целый огромный мир существовал вокруг, познавать который жизни не хватит! Не сестрица бы, так он с утра до вечера носился по поселку, но строгая наставница готовила его к школе и блюла распорядок дня. Отвлекались они, когда к Лиде прибежала Нина, девочка с карими, масляными глазами, та самая, с которой лазали по шесту возле школы. У них в семье тоже были одни девчонки, поэтому она завидовала, что у Лиды теперь есть настоящий брат. Нина доставала родителей, требуя взять мальчишку из детдома, но те никак не соглашались. С Ниной они играли в магазин, где девочки были продавцами, а Сударев вынужденным покупателем, и такая игра ему не нравилась. Деньгами служили фантики, товаром – игрушки и всякое барахло, домом же и магазином были разные углы чердачной комнаты. Он таскал покупки с одно места на другое и откровенно тосковал.

И однажды Лида придумала другую игру, семейную, где они стали папа и мама. Сестрица стирала, мыла и украшала чердак, а Сударев полон траву в огороде, принося ее, как пищу, носил щепки, топил игрушечную печь, на которой Лида готовила ужин. Потом они садились за стол, кормили ребятшек-кукол, укладывали их спать и ели сами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.